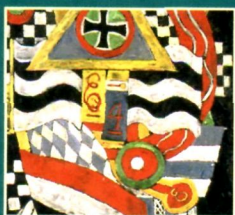


КРЭЙГ КАЛХУН  
НАЦИОНАЛИЗМ



ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО

У Н И В Е Р С И Т Е Т С К А Я

Б И Б Л И О Т Е К А

А Л Е К С А Н Д Р А

П О Г О Р Е Л Ь С К О Г О



С Е Р И Я

С О Ц И О Л О Г И Я

П О Л И Т О Л О Г И Я



КРЭЙГ КАЛХУН

НАЦИОНАЛИЗМ

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО  
А. СМЕРНОВА

МОСКВА  
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО»  
2006

ББК 66.5(0)

К 17

СОСТАВИТЕЛИ СЕРИИ:

*В. В. Анашвили,  
А. Л. Погорельский*

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

*В. Л. Глазьев, Г. М. Дерлугьян, Л. Г. Ионин,  
А. Ф. Филиппов, Р. З. Хестанов*

Издание осуществлено при поддержке  
Отдела культуры посольства США

К 17 **Крэйг Калхун.** Национализм / пер. А. Смирнова.  
М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. (Серия  
«Университетская библиотека Александра Погорельского») —  
288 с.

ISBN 5-91129-013-8

© Издательский дом  
«Территория будущего», 2006

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Георгий Дерлугьян. Организатор мировой науки</i> . . . . .	7
Благодарности . . . . .	23
Введение . . . . .	25
1. Современность и многообразие национализмов . . . . .	38
Новое время на карте . . . . .	44
Эссенциализм . . . . .	53
Сложное явление, множественные причины . . . . .	57
Недооценка национализма . . . . .	62
2. Родство, этничность и категориальные идентичности . . . . .	73
Конструкция и примордиальность . . . . .	75
Изобретение традиции . . . . .	79
Родство, происхождение, этничность и национальность . . . . .	87
Индивидуализм и категориальные идентичности . . . . .	98
Преобразование этничности . . . . .	107
3. Националистические притязания на историю . . . . .	113
Этничность как история . . . . .	118
История, этничность и манипуляция . . . . .	126

4. Государство, нация и легитимность . . . . .	139
Возникновение современного государства . . . . .	139
Новая форма политического сообщества . . . . .	144
Внутренняя интеграция наций . . . . .	164
Этнические чистки, ранние и поздние . . . . .	170
5. Универсализм и ограниченность . . . . .	175
Западный/восточный, ранний/поздний, космополитический/локальный . . . . .	176
Локальное в глобальном . . . . .	186
На самом ли деле одни нации «реальнее» других? . . . . .	197
6. Империализм, колониализм и мировая система национальных государств . . . . .	205
Капитализм и крупномасштабная социальная интеграция . . . . .	226
Равнозначность и неузнавание . . . . .	231
Закключение . . . . .	239
Литература . . . . .	246
<i>Артем Смирнов. «Национализм»</i> и публичная сфера . . . . .	263
Литература . . . . .	284

## ОРГАНИЗАТОР МИРОВОЙ НАУКИ

Начнем с исторического анекдота (а по-русски — просто байки) из жизни модных классиков, которые мастерски и со смыслом рассказывает Крэйг Калхун. На первом курсе элитарной школы Эколь Нормаль никто не водился с провинциалом Пьером Бурдье, чей южный говор, пересыпанный баскско-испанскими словечками, коробил избранную парижскую молодежь. Годы спустя, уже став знаменитым социологом, Бурдье концептуализирует свои юношеские переживания как проблемы воплощенного в самом человеческом теле габитуса и обладания культурным капиталом. Но тогда сын сельского почтальона и внук батраков-издольщиков Пьер Бурдье просто воспринимался среди своих парижских однокурсников набыченным увальнем, спустившимся с гор Беарна. То, что Бурдье при этом увлекался грубо-физической игрой в регби, лишь подчеркивало его отличие от молодежи интеллектуального бомонда и довершало репутацию беарнского забияки.

Только где-то к ноябрю первого курса обучения одинокого Бурдье впервые позвали в гости на обед к родителям такого же непопулярного согруппника Жака Деррида. Там крестьянский сын Бурдье смог впервые расслабиться: отец и старшие братья Деррида оказались бедными евреями из колониального Алжира, вдобавок еще и малярами по про-



фессии. Они одновременно гордились младшим братом, которого фамиллярно звали Жаки (что-то вроде Яшки), и подтрунивали над философской белибердой, которой была забита башка у младшего Деррида.

Бурдые и Деррида патронировал куратор курса Луи Альтюссер, который обладал педагогическим чутьем на талант и, будучи убежденным марксистом, ни в грош не ставил буржуазные предрассудки. Третьим питомцем Альтюссера был Мишель Фуко, но Фуко был старше на два года и держался совсем обособленно то ли из-за личных психологических комплексов, то ли из-за сексуальной ориентации.

Полный разрыв наступил, когда Альтюссер попытался вовлечь эту троицу в ячейку Коммунистической партии Франции. Бурдые отказался наотрез, заявив, что заорганизованные интеллектуальные марксисты были страшно далеки от подлинно трудовой крестьянской среды. (Исходя из этого, рекомендует Калхун, следует читать работы Бурдые по социологии политики, высшему образованию и особенно студенческим протестам 1968 г.) Затем Бурдые уезжает учительствовать в Алжир, где ссорится с местными интеллектуалами как из числа французских поселенцев, так и образованных городских арабов. Бурдые совершенно не выносил покровительственных интеллигентских разговоров о народе. В Алжире он чувствует себя прекрасно только среди коренных горцев Кабилии (поясню: близкого социально-культурного аналога чеченцев).

Крэйг Калхун знает свои байки из первоисточников. Если разговор заходит об унаследованном социальном капитале и габитусе, то Калхун первым с ироническим смехом (а как еще?) готов признать неловкую проблему своего происхождения. Он потомок Джона Калхуна, — в 1810–1830-е годы сенатора от Южной Каролины и дважды вице-президента США,

который вошел в историю как виднейший пропагандист рабства и даже получил прозвище «Маркс плантаторов», поскольку утверждал, что «отеческая» система рабства преодолевает отчуждение труда от капитала. В Йельском университете, где именем Джона Калхуна назван один из колледжей, это периодически вызывает студенческие протесты, которые Крэйг Калхун одобряет. «После того, как у нас отобрали плантацию, — признает он, — следующим поколениям пришлось податься на Дикий Запад, в золотоискатели и скотоводы, либо идти в священники — замаливать грехи предков.»

Отец Калхуна служил викарием Чикагского университета. Крэйг — первый в своем семействе светский интеллектual за более чем столетие. По Бурдье, это разительный пример передачи социального капитала путем конвертации его форм: из экономической — в политическую (у плантатора и сенатора Калхуна), после потери власти и привилегий в результате Войны Севера и Юга — в нематериальную, но престижную форму символического капитала среди последующих поколений протестантских проповедников и, наконец, в высшее светское образование и джентльменский элитный габитус самого президента Совета по исследованиям в общественных науках (на этом посту Крэйг Калхун находится с 1999 г.).

Список его научных работ и должностей (*curriculum vitae*) занимает на сегодня двадцать страниц убористого шрифта и продолжает шириться, благо автор находится в расцвете сил: Крэйг Калхун родился в 1952 г. и, как многие американцы среднего возраста, находится в прекрасной форме. Можно лишь гадать или завидовать, как он все это успевает. Но факт, что подобно своим дисциплинированным пуританским предкам Калхун встает на заре, пишет до завтрака, проводит первую деловую встречу в восемь, утром руководит Советом по исследованиям в общественных нау-

ках, после ланча читает лекции в Нью-Йоркском университете, к вечеру начинает аспирантский семинар, а затем, уже где-то после девяти, нередко еще и ведет аспирантов в один из излюбленных баров на Манхэттене, где до полуночи передается научное знание в жанре поучительной байки.

В семидесятые годы Калхун учился у современных классиков общественных наук. Это надо упомянуть не столько ради самих впечатляющих имен, сколько в наглядное подтверждение переплетения и взаимообусловленности родословных научных идей. Крэйг Калхун изучал социологию в Колумбийском университете, когда там заведовал кафедрой Роберт Мертон, а Иммануил Валлерстайн после 1968 г. еще возглавлял оппозицию младших преподавателей и уже начинал писать первый том «Современной миросистемы». Затем Калхун осваивал экономическую антропологию в знаменитой Манчестерской школе и вел полевые исследования среди народности талленси в Гане. Впоследствии он занимался философией у Юргена Хабермаса и Чарльза Тэйлора, стажировался в Париже у Бурдьё и Деррида, кстати, как и Фрэнсис Фукуяма, с которым Калхун сидел за соседней партой еще в первом классе знаменитой Школы-лаборатории при Чикагском университете. Однако диссертацию Крэйг Калхун защитил не по социологии, антропологии или философии, а в Оксфорде у Э.П. Томсона, где вопреки марксистскому канону заново проанализировал социальную историю и реальные механизмы радикального рабочего движения в Англии эпохи индустриализации.

Он много времени жил в разных странах мира: Норвегии, Бразилии, Судане. Весной 1989 г. Крэйг Калхун преподавал в Пекине, куда только недавно начали пускать американцев, и оказался близким очевидцем студенческого восстания на площади Тяньаньмынь. Нескольких студентов Калхун

тогда срочно вывез из Китая на учебу в Америку, пользуясь тем, что уже был директором международной программы и вскоре стал деканом Университета Северной Каролины в Чапел Хилле. Книга «Ни боги, ни императоры», написанная по следам пекинских событий, стала интеллектуальным бестселлером и переведена на восемь языков. К тому времени он уже написал другое эмпирически насыщенное исследование — о войне в Эритрее, которую Крэйг Калхун также видел и испытал непосредственно, как и его эритрейская приемная дочь. Кабинетным ученым его никак не назовешь.

И в то же время Калхунова энергия и повествовательный талант мощно проявляются в серии книг и едва ли не в сотне статей о наиболее интересных для него теоретиках: Ханне Арендт, Юргене Хабермассе, Тэйлоре, Э. П. Томсоне, Роберте Мертоне, Артуре Стинчкоме, Герхарде Ленски (это старший коллега Калхуна по Университету Северной Каролины), но более всего Пьере Бурдьё. Эту сторону интересов Крэйга Калхуна надо пояснить особо.

Популяризация (открыто либо исподволь) нередко считается низшей формой интеллектуального производства. На Западе престиж в первую очередь достается маститым теоретикам, за которыми следуют дотошные, вооруженные количественными методами эмпирики. Популяризация же слывет в академической среде делом вторичным, писанием для профанов. Это, настаивает Калхун, кардинальное заблуждение. Хуже того: академическая элитарность может обернуться даже смертельной ошибкой в современных условиях рыночных требований к науке и общемировой тенденции к понижению престижа интеллектуальных занятий<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Подробнее об этом можно почитать в известном австралийском журнале «Одиннадцатый тезис», чей тематический номер за фев-

У высококачественной научной популяризации, чем, собственно, и является книга, которая оказалась у вас в руках, есть как минимум две важнейшие функции. Во-первых, университет в современных условиях массового образования превратился в центральную платформу гражданского общества. Демократия не есть абстрактная ценность. (Тут, конечно, Крэйг Калхун внутренне спорит со своим предком-реакционером.) Демократия в новом философско-социологическом понимании есть процесс коммуникативного действия, в котором должны вырабатываться решения по управлению современным обществом. Здесь находятся основные силы и механизмы контроля над другой важнейшей структурой современного общества — бюрократией. Без постоянного обсуждения, т. е. коммуникативного действия, властных решений демократия становится формальностью и сводится к периодической легитимации бюрократической власти на выборах. На этой идее, которую с конца 1960-х годов разрабатывал прежде всего Хабермас, сходятся сегодня все крупные теоретики демократии. Коммуникативное же действие предполагает хорошо информированных и наученных рассуждать граждан. Поэтому социальная наука без передаточного механизма популяризации, а также без регулярной подзарядки эмоциональной энергией извне, от массовой образованной аудитории, не просто не выполняет своей главной общественной функции.

Без умной, корректной и регулярной популяризации своих последних достижений и дебатов социальная наука начи-

раль 2006 г. полностью посвящен разбору идей Крэйга Калхуна о роли критической социальной науки в поддержании публичной сферы. На интернете этот номер доступен по адресу: <http://the.sagepub.com/content/vol84/issue1/>

нает замыкаться в себе и вырождаться в схоластику. Чтобы понять, как социальные науки могут ходить кругами, даже если всякий раз с новым словесно-методологическим оформлением, достаточно полистать американские журналы из обязательного списка профессионального «мейнстрима» (*American Historical Review*, *American Sociological Review*, *American Political Science Review*), где происходит инфляция количества сносок (особенно у историков), утяжеление математического аппарата (тут политологи и социологи пытаются угнаться за экономистами) либо серьезное помутнение языка, которым часто отмечен анализ культур и текстов.

Из этого вытекает вторая функция популяризации высокого уровня — поддержание внутриакадемической коммуникации. Имеются в виду прежде всего систематизация и распространение знания среди самих профессионалов. Откуда вообще ученые узнают о том, что происходит в областях знания вне фокуса их узкопрофессиональных интересов? Да и возможно ли генерирование новых, прорывных идей — то, что поэтически называется озарениями — вне более широкого и как будто необязательного круга чтения? Для жестко профессионализированного мира американской науки, практически устроенного как иерархические ремесленные гильдии политологов, социологов, историков и т. д. (ведь поиск рабочих мест и карьерный рост прямо обусловлены принадлежностью и признанием внутри своей гильдии), междисциплинарный, как и международный, обмен информацией остается одной из главных проблем. О ней постоянно говорят, устраивают конференции и представительные междисциплинарные сборники, которые, однако, при получении конечного продукта вызывают в памяти крыловскую басню про лебедя, рака да щуку. Это, впрочем, вовсе не означает, что никому ничего не удастся сделать.

Крэйга Калхуна никак не обвинить в маргинальном радикализме. Декан одного из ведущих университетов едва в 37 лет, президент Совета по исследованиям в социальных науках в 46, специальные выпуски журналов, посвященные его научным работам... Придется признать, что наряду с потоком массового, ремесленного производства американской науки все же встречаются и такие личности, как Калхун. Более того: их усилия не пропадают втуне, а, напротив, порой дают результат, который и составляет тот самый мировой уровень. Возможно, динамическое напряжение между рутинной профессиональной деятельностью и периодическими прорывами на том или ином направлении следует рассматривать как вполне ожидаемую реалию современной массовой науки. Только не следует забывать, что прорывы сами собой не возникают: они организуются и развиваются по логике любой реформы или революции. Научное производство есть по сути политическая борьба между интеллектуальными движениями протеста (инновация всегда есть протест против сущего) и держателями устоев, которые контролируют основные институты и ресурсы научного поля (хотя и не всегда и не целиком: успешные реформаторы вроде Калхуна все-таки возможны в конкурентном мире американской науки). Популяризация в таком случае должна рассматриваться как орудие мобилизации сил и их воодушевления. Собственно, это и делает Калхун в серии своих книжек-обобщений: собирает воедино и доходчиво излагает передовые или недостаточно понятые идеи, с тем чтобы создать, затвердить достигнутый рубеж, собрать силы и наметить следующие цели. Так организуется современная наука.

Скажем, всемирная знаменитость Пьера Бурдьё в немалой степени стала результатом выхода французского социолога на самое крупное и емкое интеллектуальное поле современ-

ного мира, которым после 1945 г. стал архипелаг американских университетов. Одним из моторов продвижения идей Бурдые был Крэйг Калхун, который вместе с социальным историком Мойше Постоном, ныне известнейшим профессором Чикагского университета, еще в 1982 г. создали неформальную группу молодых единомышленников.

Тогда их поддержал состоятельный чикагский адвокат и риэлтор Барни Вайссбурд, некогда сам причастный к науке: в качестве военнослужащего в 1941–1945 годах он участвовал в Манхэттенском проекте и даже непосредственно в открытии одного из трансурановых элементов. Годы спустя, разбогатевший Барни Вайссбурд занял почетное место в Попечительском совете Чикагского университета и, уже отойдя от бизнеса, обратился к планированию науки. Поскольку в России сегодня слово «спонсор» употребляется без разбора, а английская аббревиатура «пиар» приобрела звучание едва не демоническое, надо также пояснить роль миллионера Вайссбурда.

Славу Пьеру Бурдые покупать было бы просто бессмысленно. Интеллектуальное поле обладает собственными внутренними механизмами оценки, которые, как показал еще в 1930-х годах Роберт Мертон, не поддаются прямому денежному воздействию. Престиж завоевывается только признанием независимых профессионалов. Однако для этого работы должны быть введены в научный оборот. Молодые Калхун и Постон смогли убедить Барни Вайссбурда в потенциальном воздействии теоретических идей Бурдые на американскую социологию, в которой господствовала статистическая эмпирика. Спонсорство выразилось в том, что Фонд Вайссбурда откупил Калхуна и Постона на один год от повседневной преподавательской нагрузки, дал деньги на проведение регулярных семинаров с приглашением единомышленников из других университе-



тов, а впоследствии и самого Бурдые на годичное преподавание аспирантского курса в Чикаго. Взлет мысли, возможно, и остается делом одиночным, но широкие прорывы и создание школ в современной науке все-таки организуются и требуют тылового обеспечения. Это так же справедливо касательно преимущественно вербального обществоведения, как и капиталоемкой атомной физики.

Мы, наконец, подошли к характеристике позиции Крэйга Калхуна в интеллектуальном поле. Он — именно тот, кого в советской академии пышно именовали «видный организатор науки». Но в отличие от отечественного научного генералитета, позиционная власть которого к концу брежневской эпохи стала восприниматься сугубо саркастически, Калхун остается очень активным ученым и действующим преподавателем. Он руководит Советом по исследованиям в общественных науках, более известным по первым буквам английского названия как Эс-Эс-Ар-Си (SSRC—Social Science Research Council), — организацией неправительственной и при этом исключительно влиятельной, и это надо пояснить, поскольку аналогов в отечественном обиходе пока не существует.

SSRC был создан в 1923 г. на деньги частных бизнес-фондов. Первыми меценатами было семейство Рокфеллеров, к которым присоединились фонды Форда, Карнеги и впоследствии семейство миллиардеров МакАртуров. Совет служит передаточным звеном между спонсорами (если хотите, оптовыми поставщиками ресурсов) и отдельными исследователями, которых по аналогии можно назвать розничными получателями. Задача Совета — придумывать новые направления в исследованиях, в чем очень большую роль играют президент и организуемые им концептуальные конференции. Для дальнейшего исполнения существует постоянно меняющийся аппарат. Сегодня это около восьмидесяти че-

людей преимущественно научной молодежи: студенты-стажеры на технических должностях и недавно защитившиеся доктора, которые руководят отдельными направлениями. После нескольких лет работы в SSRC они, как правило, двигаются куда-то дальше в университетской системе. Основная организационная работа заключается в подготовке различных конференций по исследовательским проектам и проведении ежегодных конкурсов на исследовательские гранты для ученых и аспирантские стипендии. Заявки, которые должны так или иначе соответствовать предлагаемой общей тематике, оценивают соответствующие экспертные комиссии на общественных началах: это престижно, поскольку означает признание внутри профессиональной среды. Так формируется научная политика.

Пожалуй, одним из самых известных проектов SSRC было создание теории модернизации в конце 1950-х годов. В России и сопредельных государствах эта теория воспринимается бестелесно, как некая абстрактно самостоятельная идея об устройстве человечества. На самом деле у теории модернизации были конкретные авторы — социологи Эдвард Шилз и Алекс Инкелесс, политолог и политик Уолт Ростоу и еще около десятка других ученых, которые объединились в Комитет SSRC по сравнительной политологии. Безусловно, это была политически направленная программа исследований, которая отвечала тогда крайне актуальной для США задаче борьбы с советским влиянием в третьем мире. Калхун не только признал это — он создал группу по научной истории самого SSRC. Главная задача ее — рефлексивно и добросовестно показать механизмы формирования направлений в общественных науках.

В России еще куда менее известно, что теория модернизации (как, кстати, и тоталитаризма) еще в начале 1970-х годов

подверглась настолько уничтожающей критике среди поднимавшегося тогда поколения американских ученых, что ее базовые концепции просто перестали упоминать. Как-то неловко сделалось; неожиданное возрождение произошло только в начале 1990-х, после распада советского блока. Согласно Бурдье, символический капитал, ассоциированный с этими некогда официальными теориями, сделался в результате критического восстания негативным.

Заодно пострадала и репутация SSRC. Вместо отвергнутых теорий, отвечавших идеологической ортодоксии пятидесятых, возникли совершенно новые направления, которые, по выражению Рэндалла Коллинза, ознаменовали прорыв в «золотой век исторической макросоциологии». Это прежде всего теории государственной власти и исторической демократизации Чарльза Тилли, которые в первую очередь были направлены против телеологической концепции Хантингтона; исследование Теды Скочпол о причинах революций, которое положило начало преодолению как классических либеральных, так и марксистско-ленинских формационно-классовых теорий революции; наконец, это миросистемный анализ Иммануила Валлерстайна.

Сегодня Крэйг Калхун, придя к руководству SSRC, нацеливает Совет на более критичные исследования глобализации и возможностей демократии в мире, где избираемые правительства национальных государств все более уступают власти транснациональных корпораций, которые, возможно, эффективные рыночные игроки, но никак не демократические структуры. Национальные чувства всегда были неоднозначным фактором современной политики и культуры, но в условиях мощной рыночной глобализации национальная принадлежность может оказаться и якорем надежды, и камнем на шее.

## ОРГАНИЗАТОР МИРОВОЙ НАУКИ

Вместе с тем именно в исследованиях национализма за последние двадцать лет были совершены интереснейшие теоретически прорывы, которые очень многое могут дать для понимания принципов социальной организации культуры и коллективного поведения. Нет ничего случайного, что после работ о Пьере Бурдье, Ханне Арендт и Юргене Хабермаса, после анализа состояния дел в критической теории или событий в Китае и Эритрее, наряду со своей ныне основной работой в теории космополитичности и демократии Крэйг Калхун взялся суммировать достижения теорий нации, идентичности и национализма. Разобраться всего на ста с чем-то страничках, в чем там дело с этими новыми объяснениями национализма, — настоящий подарок, да еще с личным знаком качества Крэйга Калхуна. Не так ли?

*Георгий Дерлугьян*  
*Профессор Университета Нордвестерн,*  
*Чикаго*



КРЭЙГ КАЛХУН

# НАЦИОНАЛИЗМ



## БЛАГОДАРНОСТИ

Во время очередной годовщины уничтожения Герники в 1993 году после конференции в Наваррском университете мне довелось побывать в Стране басков. В газетах тогда печатались снимки, навевавшие мрачные воспоминания, и описания новых разрушений и случаев применения террора против гражданских жителей, на этот раз в Сараево. Такие совпадения наталкивают на определенные размышления, и я уверен, что возможность обсудить такое повторение националистического насилия со сведущими спутниками способствовала моему пониманию этого феномена больше, чем мой доклад о национализме и социальных изменениях помог разобраться в нем кому бы то ни было на предшествующей конференции. За годы работы накапливается много таких долгов.

Я начал всерьез размышлять о национализме после пребывания и изучения истории Югославии, Китая и Норвегии. Я многим обязан ученым и не им одним в этих странах. Не так давно я с пользой провел время в Эритрее, преподавая в Асмарском университете; я получил возможность принять участие в ряде впечатляющих совещаний Конституционной комиссии и обсудить ход борьбы за национальную автономию и проект строительства новой нации с ветеранами освободительных фронтов, учеными и самыми разными людьми. Моя жена Памела ДеЛарги познакомила меня с Эритреей и оставалась моим самым важным собеседником.



Мои представления о национализме заметно расширились за время моей работы в Университете Северной Каролины. Участники Программы по социальной теории и кросс-культурным исследованиям прекрасно владели искусством конструктивной критики. Совместное чтение курса о национализме с Ллойдом Крамером оказалось необычайно полезным и приятным. Многие студенты также были важными учителями, особенно Стивен Пфафф. Карен Олбрайт искусно подготовила указатель. Моя работа (и работа коллег) в качестве директора университетского центра международных исследований оказала важное стимулирующее воздействие. То же можно сказать и о приглашениях выступить о национализме в других местах. Эдвард Тириакийян не раз приглашал меня на свой семинар в Дьюкском университете. Обсуждение после моих Россовских лекций в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и моих Бриджесовских лекций и семинаров в Вашингтонском университете было особенно ценным и позволило выявить недостатки ранних формулировок. При работе над книгой чрезвычайно полезной оказалась критика в ходе семинаров в Стокгольмском университете, Университете Упсалы, Гетенбергском университете, Лундском университете, Университете Осло, шведской Коллегии по углубленному изучению социальных наук, Университете Торонто, Университете Джорджа Мейсона, Нью-Йоркском университете, Калифорнийском университете в Беркли, Северо-западном университете, Университете Ратджерса, Университете Кандидо Мендеса и Центре транскультурных исследований, а также в Наваррском университете.

## ВВЕДЕНИЕ

Разговоры о национализме не прекращаются на протяжении уже двух столетий. Причем нередко встречаются заявления, что он уже свое отжил. Национализм играл важную роль в революциях и войнах за независимость. Но свидетельством успеха националистических проектов служит то, что существование и политическая самостоятельность наций на долгое время смогли стать чем-то само собой разумеющимся. По крайней мере жители богатых стран Запада склонны не замечать национализм, глубоко укоренившийся в наших представлениях о мире — организации гражданства и паспортов, нашем взгляде на историю, нашем делении литератур и кино, нашем соперничестве на Олимпийских играх. Мы замечаем национализм только тогда, когда он проявляется в виде конфликтов между государствами и теми, кто стремится к изменению границ или системы правления. Этот вид коллективного действия, зачастую сопряженный с насилием, развивался волнообразно; каждый последующий спад волны давал ученым повод считать, что национализм был проблемой из прошлого, от которой вскоре не останется и следа. Но за открытой националистической борьбой лежат более глубокие структуры коллективной идентичности и гордости, которые определяются национализмом как образ речи и мысли и способ восприятия мира — мира, состоящего из наций и отношений между ними.

В 1990-х годах национализм вновь стал главной темой новостей. Распад Советского Союза побудил националистов

в его бывших республиках заявить о своей независимости. Пытаясь провести политическую границу, соответствовавшую этническим границам, армяне и азербайджанцы начали войну в Нагорном Карабахе. Чеченские повстанцы выступили против самой России. А правые русские националисты сожалели об утрате бывших владений своей страны.

Но националистическая борьба не ограничивалась бывшим Советским Союзом: в бывшей Югославии сербские, хорватские и боснийские соседи начали убивать друг друга. Раскол Чехословакии на Чешскую Республику и Словакию прошел более мирно. Квебеку не хватило нескольких процентов голосов, чтобы отделиться от Канады. Норвежские избиратели выказали свои националистические настроения, проголосовав против членства в Европейском Союзе. Некоторые утверждали, что ЕС сам приступил к отстаиванию европейскости как некоего нового национализма, точно так же, как он занялся строительством нового квазигосударственного аппарата. Великобритания еще раз заявила об отказе от своих имперских притязаний, передав свою колонию — Гонконг — Китаю во имя соблюдения принципа национального суверенитета (даже если это не имело ничего общего с самоопределением граждан Гонконга). Американские политики состязались друг с другом в том, кто из них больший националист, отстаивая жесткую позицию по вопросам иммиграции или торговли с Азией. Ирак вторгся в Кувейт, заявив о том, что бывшая провинция колониального Ирака должна быть составной частью нации; Организация Объединенных Наций отстаивала национальный суверенитет кувейтского режима, представлявшего меньшинство жителей страны. На том же Ближнем Востоке, когда давнее стремление палестинцев к самостоятельному национальному государству стало наконец приносить осязаемые плоды, еврей-ультрана-

ционалист застрелил премьер-министра Израиля. Эритрея стала независимым государством после 30 лет националистической борьбы с Эфиопией, которая сначала была империей, а затем — объектом грубых действий коммунистического режима, направленных на создание единой нации. Новое правительство Эфиопии, в свою очередь, старательно пыталось предупредить потенциальные националистические восстания, предлагая конституционные гарантии права на автономию и даже потенциальное отделение для составляющих государство различных национальностей. На юге Африканский национальный конгресс ввел в ЮАР правление большинства, а в Судане северяне во имя национального единства убивали южных сепаратистов.

Перечень примеров, свидетельствующих о сохранении значимости национализма, можно продолжить. Но такой подход может ввести в заблуждение. Рассмотрение только этой, зачастую насильственной борьбы побуждает нас считать национализм просто проблемой, требующей решения, — проблемой, которая исчезнет, как только прояснится вопрос с границами и будет установлен народный суверенитет. При этом обычно забывают о том, насколько границы и сам народный суверенитет связаны с националистическим дискурсом, при помощи которого мы придаем современному миру концептуальную форму и практическую организацию. Влияние национализма заметно не только во время кризисов и открытых конфликтов. Он стал основой коллективной идентичности в современную эпоху и определил особую форму государства, преобладавшую на протяжении двух последних столетий. На самом деле национализм — это вопрос не только политики, но также культуры и личной идентичности. Дискурс наций выражается в основном на языке страсти и идентификации, а схожий с ним во многих отношениях дискурс государств чаще исполь-

зует язык разума и интересов. Национализм обладает таким эмоциональным влиянием отчасти потому, что он помогает нам становиться теми, кто мы есть, вдохновляя художников и композиторов и связывая нас с историей (и, следовательно, с вечностью и бессмертием). Вот пример национализма в обзоре лондонской выставки работ, «сохраненных Национальным фондом художественных коллекций» (который сам был основан во время «весны народов» середины XIX века): «Проще говоря, основной вопрос заключается в том, есть ли у нации воля и финансовые средства для того, чтобы сберечь произведения искусства, необходимые для сохранения своего прошлого и обеспечения преемственности своей культуры» (*Melikian* 1997: 7). Еще один пример: во время Фолклендской войны, как называют этот конфликт англичане, я навестил Фрэнка Харриса, работника из моего оксфордского колледжа, умиравшего в больнице от эмфиземы. «Люди умирают, — сказал он, — но Англия будет жить вечно».

Национализм принимает различные формы: одни бывают мягкими и спокойными, другие — пугающими. Иногда социологи пытаются разделить «хороший» национализм (патриотизм) и «плохой» национализм (шовинизм), словно они являются совершенно разными социальными явлениями. Это осложняет понимание каждого из них и ведет к сокрытию общих черт между ними. И позитивные, и негативные проявления национальной идентичности и преданности определяются общим дискурсом национализма. Ни один частный случай невозможно в полной мере понять без рассмотрения того, как более глобальная — на самом деле интернациональная — риторика способствовала созданию и формированию каждого из них. Это касается националистических движений, националистической государственной политики, националистических традиций в литературе и искусстве

и обыденных представлений простых людей о своем месте в мире. Национализм среди прочего является тем, что Мишель Фуко (Фуко 1996а; *Foucault* 1977; см. также: *Brennan* 1990) называл «дискурсивной формацией», образом речи, который определяет наше сознание, но в то же время остается достаточно проблематичным, продолжая порождать множество проблем и вопросов и побуждая нас еще больше рассуждать и спорить о способах его осмысления.

Дело не только в использовании участниками определенного термина (ср.: *Greenfeld* 1992). Дело скорее в использовании участниками риторики, образа речи, особого языка, который несет с собой связь с другими событиями и действиями, который делает возможными или невозможными другие образы речи или действия или признается другими ведущим к определенным последствиям. Например, когда сторонники независимости Квебека используют риторику национализма, они неявно обращаются к антиимпериалистическим национализмам, они сдерживают тех, кто мог бы поддержать присоединение к Соединенным Штатам или Франции, и они заявляют о своем законном праве на потенциально независимое государство.

Чтобы говорить о признании в качестве нации, явно необходимы социальная солидарность—определенная степень сплоченности между членами предполагаемой нации и коллективной идентичности, признание целого его членами и осознание индивидом себя в качестве части этого целого. Но социальная солидарность и коллективная идентичность могут существовать в самых различных группах—от семей до работников корпораций и имперских армий. Они являются минимальными условиями для того, чтобы называть население нацией, и далеко не определяющими. Какие еще черты должны в идеале присутствовать для того, чтобы на-

зывать население, обладающее социальной солидарностью и коллективной идентичностью, нацией?

И здесь в действие вступает дискурсивная формация национализма. Этот способ осмысления социальной солидарности, коллективной идентичности и связанных с ними вопросов (например, политической легитимности) играет решающую роль и в производстве националистического самопонимания, и в признании националистических притязаний другими. Именно в этом смысле Бенедикт Андерсон называл нации «воображаемыми сообществами». По его утверждению, «все сообщества крупнее первобытных деревень, объединенных контактом лицом-к-лицу (а, может быть, даже и они), — воображаемые. Сообщества следует различать не по их ложности/подлинности, а по тому стилю, в котором они воображаются» (Андерсон 2001: 31). Конечно, есть и другие способы определения сообществ, например, по размеру, степени административной организации, степени внутреннего равенства и т. д. Но наша главная задача заключается именно в осмыслении особой формы «воображения» коллективной идентичности и социальной солидарности, связанной с национализмом.

Наиболее важными кажутся следующие особенности риторики нации, хотя ни одна из них не является абсолютно необходимой и все они в большей или меньшей степени могут присутствовать в любой нации. Решающее значение имеет система, в которой они преобладают:

1. границы территории, население или то и другое;
2. неделимость — представление о целостности нации;
3. суверенитет или по крайней мере стремление к суверенитету и, таким образом, к формальному равенству с другими нациями, как правило, в виде независимого и предположительно самодостаточного государства;

4. «восходящее» представление о суверенитете, то есть идея о том, что правление является справедливым только тогда, когда оно опирается на волю народа или по крайней мере служит интересам «народа» или «нации»;
5. участие народа в коллективных делах — народная мобилизация на основе принадлежности к нации (в военной или гражданской деятельности);
6. прямое членство, когда каждый индивид считает себя непосредственно частью нации и в этом смысле категорически эквивалентным другим членам;
7. культура, включая некое сочетание языка, общих убеждений и ценностей, освященных обычаями практик;
8. глубина во времени — представление о том, что нация как таковая существует во времени, включая прошлые и будущие поколения, и обладает историей;
9. общее происхождение или расовые черты;
10. особая историческая или даже сакральная связь с определенной территорией.

Отметим еще раз, что это особенности риторики нации, утверждения, которые обычно делаются при описании наций. Не существует никаких эмпирических критериев, позволяющих установить способность наций добиваться суверенитета, поддерживать сплоченность, оберегая себя от внутренних расколов, или очерчивать четкие границы, ссылаясь на единство культуры или ее особую древность. Скорее нации во многом конституируются самими этими утверждениями, образом речи, мысли и действия, который опирается на них при создании коллективной идентичности, мобилизации людей для осуществления коллективных проектов и оценке людей и практик.

Полного перечня не существует: мы даем лишь общую схему, а не точное определение нации. Приведенные черты



могут помочь нам в создании «идеального типа», но это важно для концептуализации, а не для рабочего определения или эмпирически проверяемого описания. Слово «нация» используется главным образом применительно к населению, которое обладает или притязает на обладание большинством перечисленных особенностей. Какие шесть, семь или восемь особенностей станут наиболее важными, — будет меняться от нации к нации. Нация опознается не по своей «сущности», а по тому, что Людвиг Витгенштейн (*Витгенштейн* 1994) называл системой «семейных сходств». Некоторые родственники могут иметь характерный для семьи нос, но не иметь характерной для нее челюсти или иметь характерные для семьи зеленые глаза, но не иметь характерного для нее высокого лба; и черты, разделяемые всеми членами семьи, могут разделяться также другими людьми, которые не принадлежат к этой семье. Тем не менее можно заметить общую закономерность. Национальная идеология во всяких данных условиях может не обладать одной или несколькими из своих характерных черт или придавать большее или меньшее значение другим. Признание в качестве нации основывается не на строгом определении, а на преобладании этой общей закономерности<sup>1</sup>.

Национализм в этом смысле имеет три измерения. Во-первых, национализм как дискурс: производство культурного понимания и риторики, которое ведет к тому, что люди во всем мире мыслят и выражают свои устремления с точки зрения идеи нации и национальной идентичности, и про-

<sup>1</sup> Ни одно определение нации (или связанных с ней терминов, таких, как «национализм» или «национальность») так и не получило общего признания (*Smith* 1973; 1983; *Alter* 1989; *Motyl* 1992; *Connor* 1994; *Hall* 1995).

изводство отдельных разновидностей националистической мысли и языка в особых условиях и традициях. Во-вторых, национализм как проект: социальные движения и государственная политика, посредством которых люди пытаются преследовать интересы общностей, которые они считают нациями, обычно предполагающие определенное сочетание (или историческое развитие) все большего участия в существующем государстве, национальной автономии, независимости и самоопределения или объединения территорий. В-третьих, национализм как способ оценки: политические и культурные идеологии, которые утверждают превосходство отдельной нации; они часто, но не всегда связаны с движениями или государственной политикой. В этом третьем смысле национализму часто придается статус морального императива: например, национальные границы *должны* совпадать с государственными; члены нации *должны* блюсти ее моральные ценности и т.д. В результате действий, вытекающих из этих императивов, национализм начинает ассоциироваться с *крайними проявлениями* преданности собственной нации: в этнических чистках, идеологии национальной чистоты и враждебности к иностранцам.

Преданность своей собственной группе, конечно, имеет глубокие корни. Это измерение национализма с полным правом можно назвать примордиальным, существующим с незапамятных времен, до появления писаной истории человечества. Но группы и преданность группе могут принимать множество форм, и едва ли они сами по себе составляют или объясняют национализм. Можно быть преданным семье (это еще более распространенная форма преданности в истории, чем даже та, что связана с национализмом) или городу независимо от того, считается этого город частью нации или нет. Преданность Макиавелли Флорен-

ции в XVI веке принадлежит истории национализма, так как она побудила его написать множество важных вещей о природе государства, о политическом правлении, об отношениях, которые связывают отдельных членов политических сообществ с их правителями. Но Флоренция XVI века не была нацией, и связь между «флорентийской» и более широкой «итальянской» идентичностью не имела для Макиавелли решающего значения или не была в полной мере проработанной в его эпоху. И даже позднее идеология продолжала опережать реальность. Как выразился Массимо д'Азельо, «Италию мы уже создали, теперь нам предстоит создать итальянцев» (Хобсбаум 1998: 72).

Такая программа предполагает распространение внутренне однородной национальной идентичности. Это внутреннее зеркальное отражение представления о внешних различиях. Идея, что каждый народ обладает своей особой «сущностью», внутренне единой и отличной от всех остальных, играет важную роль в истории национализма. Такое представление легко может обернуться репрессиями, и оно нередко присутствует в «этнических чистках» и проектах, связанных с поддержкой развития «правильной» культуры и поведения среди тех, кто считается частью нации. Между сетями межличностной солидарности и требованиями сплоченности широких категорий якобы схожих людей существует большое различие.

Одно дело — преданность своему королю и сородичам при столкновении с норманнскими захватчиками в том, что в 1066 году стало Англией. И совсем другое — в последующие годы: возвращение английского национализма посредством мифологизации Камелота, превращения «норманнского ига» в основу квазиклассового недовольства и заявлений о том, что «Англия будет жить вечно». Преданность абстрактной

категории Англии существенно отличается от преданности своим реальным и конкретным товарищам. Сеть межличностных отношений определяет личность локально, но принадлежность к категории «нация» помещает людей в сложный, глобально интегрированный мир. И об этом нельзя забывать. В то же самое время она служит источником конфликтов и нередко используется для выражения личного и коллективного недовольства.

\* \* \*

В первой главе мы более подробно рассмотрим значение нации и национализма, сосредоточив внимание на «дискурсивной формации», которая способствовала структурированию всей современной эпохи, предоставляя общую риторику различным движениям и направлениям политики. В литературе о национализме ведутся серьезные споры между теми, кто считает нацию простым продолжением древних этнических идентичностей, и теми, кто считает ее явно современной. Представляя национализм как дискурсивную формацию, которая имеет несколько различных измерений, я утверждаю, что, хотя одни черты намного старше других, совокупность таких черт, опознаваемая нами теперь в качестве национализма, является отличительной особенностью современной эпохи.

Во второй главе эта тема получает развитие в ходе сравнения национализма с этничностью и их обоих с родством как способом организации («воображения») социальной солидарности и коллективной идентичности. Содержание различных национализмов может быть заимствовано из этничности, но она сама трансформируется дискурсом национализма и не может служить исчерпывающим объяснением ни этого дискурса, ни устройства действительных национализмов.

С этим тесно связан вопрос о том, следует ли считать национализм прежде всего унаследованным или изобретенным, примордиальным или сконструированным, и как нам следует понимать способы обращения национализмов к истории (и иногда манипулирования ею). Мы рассмотрим этот вопрос в третьей главе, где будет показано, что литература ставит нас перед ненужной дихотомией, что «примордиальность» может быть сконструированной и относительно новой, не теряя при этом своей силы или значения.

В четвертой главе будет проанализирована роль национализма в формировании нового политического сообщества, связанного с появлением современного государства.

В пятой главе будет рассмотрено противоречие между универсальными и ограниченными темами в национализме, противоречие между опорой на «гражданскую» и этническую концепции членства в нации и преобразования, произошедшие вследствие наделения локального более универсальным значением.

В шестой главе будет рассмотрена связь национализма с империализмом, колониализмом и экономической глобализацией и исследованы отношения, в которых «внутренние» национализмы зависят и определяются самим своим пребыванием в мире наций и национальных государств.

К счастью или к несчастью, в этой книге не предлагается всеобъемлющей теории национализма. Национализм — это риторика, которая используется для озвучивания слишком многих вещей, чтобы его можно было объяснить одной теорией, не говоря уже о том, чтобы объяснить все эти различные движения, культурные особенности, варианты государственной политики или другие проекты, отчасти определяемые риторикой национализма. Это не значит, что теория не нужна. Это, скорее, значит, что для осмысления

всего многообразия форм национализма требуется множество теорий. Чтобы ответить на вопрос, вроде: «Почему складывается впечатление, что развитие националистических движений происходит волнообразно?», требуется иная теория, чем для ответа на вопрос: «Почему националистическая идеология столь тесно связана с сексуальностью и гендером?». Тем не менее для удовлетворительного ответа на такие вопросы потребуются более общее осмысление — отчасти теоретическое, отчасти историческое — дискурсивной формации национализма и ее структурирующего влияния и эмоциональной силы в современном мире.

# 1. СОВРЕМЕННОСТЬ И МНОГООБРАЗИЕ НАЦИОНАЛИЗМОВ

Никакого первого националиста не существовало. Не было какого-то одного момента, когда люди, которые прежде понятия не имели ни о нации, ни о политических устремлениях или идеологических предпочтениях своей собственной страны, внезапно начали мыслить в националистических терминах. Скорее несколько различных течений исторических перемен слились воедино, чтобы создать современный национализм. Бесполезно пытаться «объяснить» национализм (и родственные идеи вроде нации и национальной идентичности) поиском первого случая и последующим изучением распространения терминологии или практик. Термин «нация» стар (хотя «национализм» сравнительно нов), но до наступления Нового времени он означал всего лишь людей, связанных между собой общими местом рождения и культурой<sup>2</sup>. Он ничего не говорил о связи такой идентичности с более или менее крупными общностями и не имел явных политических коннотаций.

<sup>2</sup> «Словом *natio* в повседневной речи первоначально обозначалась группа людей, объединяемая общностью происхождения, большая, чем семья, но меньшая, чем клан или народ... Особенно часто этот термин применялся к общинам иностранцев» (Kedourie 1994: 5).

Первые проявления современного национализма связывались с различными событиями — с противоречиями, которые привели к гражданской войне в Англии (*Greenfeld* 1992), с латиноамериканскими движениями за независимость (*Anderson* 2001), с Великой французской революцией (*Best* 1988; *Alter* 1989) и с немецкой реакцией и романтизмом (*Breuilly* 1993; *Kedourie* 1994). Эти расхождения невозможно примирить эмпирически; они восходят к различным определениям. Для наших целей достаточно отметить, что к концу XVIII века — в Великой французской революции и после нее — дискурсивная формация уже вовсю работала. Когда именно (насколько раньше) она возникла — вопрос спорный, хотя до наступления Нового времени большинство этих измерений не обладало таким существенным весом одновременно. Большинство измерений или нитей в ткани националистического дискурса имеет свою собственную давнюю историю. И, конечно, некоторые современные страны имеют истории, предшествующие появлению дискурса национализма, даже если они ретроспективно создаются в виде *национальных* историй (*Armstrong* 1982). Так, английская нация укоренена в англо-саксонской истории и сформирована норманнским завоеванием. Конфликты между Англией, Шотландией и Уэльсом способствовали появлению у каждой из этих сторон своей особой идентичности. Но Англия (не Британия, хотя в сражениях принимали участие и валлийцы с шотландцами), которую Генрих V втянул в войну против Франции, стала объектом собственно националистического дискурса вместе с более поздними призывами помнить об Азенкуре в новых политических и социальных контекстах. Именно Шекспир и более поздние историки сделали «короля Гарри» хотя и не законченным, но все же националистом.



Национализм и современное значение «нации» невозможно в полной мере понять, исходя из культурного своеобразия различных наций или современных государств, придавших национализму его особое политическое значение. Издавна существовавшие культурные особенности способствовали развитию национальных идентичностей, но значение и форма этих культурных особенностей в современную эпоху изменились. Несмотря на важность культурного «содержания» наций, оно не может полностью объяснить их. Формирование государств было одним из наиболее важных факторов в изменении формы и значения культурных различий (хотя распространение рыночных и производственных отношений наряду с другими факторами также имело большое значение). Оно привело к появлению армий, состоявших из граждан, росту административной унификации, строительству дорог, языковой стандартизации, распространению систем народного образования и многим другим изменениям, которые способствовали возникновению нового сознания национальной идентичности. Но государства не просто создавали нации.

Было бы ошибкой вступать в спор о том, какие факторы были первичными — культурные или материальные. И те, и другие были важны и неотделимы друг от друга. На самом деле, как заметили Джордж Томас и Джон Мейер, государство в современном виде представляет собой «институт, который, в сущности, является культурным по своей природе» (Thomas and Meyer 1984: 461). Нововведения вроде армий, состоявших из граждан, и создаваемых государством систем образования, социального обеспечения или налогообложения — это *идеи*, которые могут быть общими и для глобального культурного развития, и для материальных форм деятельности. Националистический дискурс — один из наи-

более важных элементов этого глобального культурного развития, который привел к преобразованию этничности и культурных особенностей и повлиял на процесс формирования самого государства. Ведь национальной идентичности, которая могла бы придать государствам их границы или использоваться политическими лидерами, попросту не существовало. Несмотря на наличие у нее глубоких корней, она сформировалась в процессе создания государства, в том числе войнами, рынками и транспортными и коммуникационными инфраструктурами. В то же время развитие и распространение националистического дискурса не сводится к формированию государства или политической манипуляции: все это имеет самостоятельное значение, проявляется в культурных областях, которые не определяются напрямую проектами, связанными с созданием государства, и часто вызывает народные действия, направленные на изменение или сопротивление отдельным чертам процесса создания государства. Поэтому необходимо сосредоточить внимание на нации как «форме», а не просто на «содержании» различных национальных идентичностей.

Культура каждой отдельной страны может обнаруживать большую или меньшую преемственность во времени и может быть более или менее целостной и единообразной. Но национализм — это способ создания идентичности, который не придает большого значения таким различиям, просто постулируя глубину во времени и внутреннее единство. Историк идей Эли Кедури был близок к этому подходу в своем классическом определении национализма:

Национализм — это доктрина, изобретенная в Европе в начале XIX века. Он пытается дать критерий для определения единицы населения, которая должна иметь свое собственное правительство,

для легитимного исполнения власти в государстве и для справедливой организации сообщества государств. Короче говоря, доктрина утверждает, что человечество естественным образом разделено на нации, что нации обладают особыми свойствами, которые могут быть установлены, и что единственным легитимным типом правления является национальное самоуправление.

(*Kedourie* 1994: 1)

Однако национализм—это не просто доктрина, а более фундаментальный образ речи, мысли и действия. Ограничивать национализм просто политической доктриной или, в лаконичной формулировке Геллнера (*Геллнер* 1991: 23), «политическим принципом, суть которого состоит в том, что политическая и национальная единицы должны совпадать», — значит слишком сужать его понимание. В этом случае не учитывается влияние национализма и национальных идентичностей на нашу жизнь, не связанное с политикой в собственном смысле слова и особенно с соперничеством за структурирование государственных границ. Писателей может волновать наличие «национального» читателя, а не наличие у этих читателей государственной власти. Национализм футбольных болельщиков иногда может иметь политическую окраску, но он не вытекает из политики в собственном смысле слова. Коренное население может использовать националистическую риторику, пытаясь получить особое признание, а не создать свое государство или отделиться, скажем, от Канады или Южной Африки. Об этом не следует забывать.

Эта более глубокая связь национализма с нашей жизнью придает национализму дополнительное политическое влияние. Мы являемся националистами в нашей гордости и в нашем лишь отчасти экономически мотивированном нежелании впускать иностранные товары (хотя наша страна

продает свои товары за рубежом). Люди откликаются на националистические послания—от флагов и церемоний до прямых призывов взяться за оружие и убивать во имя наших стран—по причинам, которые не ограничиваются простой доктриной. Это также объясняет, почему национализм не утрачивает своей силы—даже в домах правосудия—только потому, что исследователи могут показать, что как доктрина он неспособен выполнить обозначенные Кедури задачи, вызывая и усиливая конфликты между соперничающими национализмами, а вовсе не разрешая их. Как способ воображения сообществ, по выражению Андерсона, и, следовательно, придания коллективным идентичностям действительной формы национализм может быть проблематичным или вводящим в заблуждение, но, как и индивидуализм, билинейное происхождение или использование денег, он не может быть просто истинным или ложным—все это способы конструирования социальной реальности, в которой мы живем, которые могут вызывать у нас недовольство, подталкивать нас к сравнению с другими, более привлекательными возможностями или пробуждать у нас желание изменить существующее положение, но которые не допускают простых суждений об истинности и ложности.

Кедури прав в том, что национализм современен (хотя мы можем спорить о точной датировке). Он не просто возник недавно, он является одной из основных особенностей современной эпохи—эпохи, в которую дискурс национализма получил почти повсеместное распространение и оказался тесно связанным с практической властью и административными возможностями государств, а также с капитализмом, глобальными взаимосвязями и технологическими нововведениями. Но важно признать, что влияние национализма отчасти объясняется еще и тем, что национальные идентичности и вся

риторика национализма обычно кажутся людям существовавшими всегда, древними или даже естественными.

## НОВОЕ ВРЕМЯ НА КАРТЕ

Мы привыкли считать нации данностями. У нас есть образ мира, разделенного на различные «народы», каждый из которых обладает своей собственной культурной идентичностью и своей страной, хотя мы знаем, что некоторые люди живут за пределами родных или «естественных» стран. Этот образ закрепляется во время путешествий: мы предъявляем паспорта и проходим через контрольно-пропускные пункты; мы платим таможенные пошлины и заполняем анкеты, отвечая на вопрос о нашей национальности. Но не обязательно куда-то ездить: идея наций лежит в основе нашей мысленной картины мира в виде карты.

Однако мир не всегда был разделен на пестрое полотно стран, которое мы видим на сегодняшних картах. Такой способ создания карт с четкими границами между странами и взглядом с высоты птичьего полета сложился в эпоху Нового времени<sup>3</sup>. Самые ранние карты были либо местными вроде планов городов или схем береговых линий, либо предназначенными для путешественников, на которых обозначались дороги между городами и естественные ориентиры вроде гор, а представления о том, кто и где живет, были довольно смутными без каких-либо попыток проведения точных границ. Мало кто пытался представить мир в целом,

<sup>3</sup> Об истории создания карт в целом см.: *Thorwer* (1996). Стимулирующее краткое рассмотрение связи между созданием карт и национализмом см.: *Андерсон* (2001: Гл. 10).

хотя первые изыскания предпринимались еще греками в эпоху Римской империи. Как правило, карты строились от центров власти, где бы они ни находились — в Риме или древнекитайской столице Сиань.

После падения Римской империи состояние картографии в Западной Европе резко ухудшилось. Византия и части арабского мира сохранили знания об этом древнегреческом искусстве, и они вернулись в Западную Европу в эпоху Возрождения. Дальнейшее развитие картографической техники продолжилось в XV веке, чему способствовали повторное открытие Птолемеевой геометрии и появление новых методов нанесения кривых на плоскости. Идея о том, что земля круглая, получила широкое признание. Карты эпохи Возрождения вновь отображали мир в целом, еще лучше описывая связи между континентами и океанами. Благодаря исследовательским экспедициям европейские карты предлагали более полные знания не только о физической географии, но и о местоположении различных народов и империй. Картография развивалась для того, чтобы помогать мореплавателям в пути и фиксировать новые открытия. Но карты Нового времени также отражали трансформацию в понимании мира и социальной организации власти.

В XVII и особенно в XVIII веках карты стали представлять мир четко разделенным на территории, имеющие ясные границы, а не смутные рубежи. Это отражало не только просвещенческое стремление к ясности, но и растущее разделение мира на доминионы различных европейских государств и было тесно связано с охраной и даже милитаризацией границ. Идея мира, естественным образом разделенного на отдельные нации, связанные с определенными административно-территориальными единицами или государствами, сыграла наиболее важную роль в этой трансформации.

Прежде всего европейские государства стали более сильными. Они увеличили свою политическую и военную мощь и использовали ее в конфликтах, объединяя территории под своей властью и создавая относительно устойчивые линии противостояния с соседними странами. Там, где правители вместо использования наемников прибегали к мобилизации армий, состоявших из граждан, народ, которым они правили, приобретал более глубокое осознание своей общей идентичности и своего отличия от соседей. Картография и национализм отражались в новом внутреннем единстве и более четких границах. Поворотным пунктом стали наполеоновские войны. Наполеон не просто пытался приобрести новые территории в духе традиционной династической борьбы. Он стремился преобразовать социальное и политическое устройство завоеванных стран. Сначала он был поборником республиканства Великой французской революции. Но затем, провозгласив себя императором, он продолжил считать себя носителем всего самого современного, а не просто французского. Одной из основных тем идеологии, которую пытался распространить Наполеон, было более широкое участие граждан — не только в наполеоновских армиях, но и в политике и культуре. Наполеоновские войны, таким образом, способствовали «пробуждению» национального сознания по всей Европе. Они не только объединили множество групп в противостоянии французам, но и привели к созданию самого такого противостояния и внутренних политических и культурных институтов различных стран по «национальному» образцу. После этих войн правительства начали организовывать разведывательные экспедиции для сбора более точных географических сведений и проведения более четких границ.

Кроме того, эти государства стремились дополнить свою военную мощь укреплением своего влияния во внутренних

делах. Они занялись сбором налогов, которые, среди прочего, шли на оплату войны, и стали вводить воинскую повинность<sup>4</sup>. Правители желали располагать более точными сведениями о странах, которыми они правили. Соответственно, они финансировали разведывательные экспедиции для получения более точных данных о расположении земель и их использовании. Первопроходцами в этом были британские правительства, которые еще в XVI веке составили кадастровые карты (в них отображались особенности землепользования и землевладения, часто наряду с другими факторами, имевшими экономическое или административное значение), призванные облегчить колонизацию Ирландии. В XVIII веке внутренняя интеграция национальных государств благодаря рынкам, транспорту и укреплению органов центральной власти сделала использование кадастровых карт совершенно обыденной вещью. Эти усилия возрастали с развитием переписей и попытками сосчитать и описать жителей, а также со строительством лучших дорог

<sup>4</sup> Современное налогообложение, к примеру, восходит к попыткам британского премьер-министра Уильяма Питта-младшего собрать средства, необходимые для строительства и обновления военноморского флота (и укрепления сухопутных войск) для сопротивления Наполеону. Подоходный налог требовал более серьезных административных возможностей и знания нации в целом; граждане также стали платить налоги государству напрямую. Это только один из многих примеров того, как наполеоновские войны способствовали консолидации идеологии современного национального государства и социальной организации, которая лежала в его основе. Вообще говоря, способность Британии эффективно собирать налоги была главным источником ее международной силы, в том числе и военной (*Brewer 1989*).



(затем железных дорог) и лучших систем коммуникации (которые наряду с более широким распространением образования способствовали стандартизации национальных языков). Все это содействовало национальной интеграции, делая картографически значимым восприятие Франции, скажем, как единого целого, а не как совокупности феодальных владений различных герцогов и баронов.

Европейцы тратили также все больше сил на колонизацию остального мира. Это предполагало не только выяснение того, что представлял собой этот остальной мир и как в нем следовало действовать, но и установление власти и прав собственности. Даже там, где империалистической деятельностью сначала занимались частные компании, на смену им вскоре пришли государства, разделившие мир на земли различных европейских держав (особенно в «драчке» за Африку в конце XIX века). На некоторых наиболее ранних картах отражается разделение Северной Америки в XVIII веке на доминионы различных европейских государств. Европейские колонизаторы превращали свои заморские владения в колонии, строившиеся отчасти по образцу европейских национальных государств. Так, они собирали воедино разрозненные ранее княжества (как британцы в Индии), создавали централизованные столицы и строили транспортные и коммуникационные системы (которые среди прочего облегчали военное правление). Они создавали новые системы образования, в которых европейские языки (и преподавание) часто соединяли между собой страны, разделенные местными языками и диалектами. Распространяя собственные европейские языки в официальных целях (а также в целях культурного империализма), они создавали новые возможности для общения, независимо от этнических границ.

Наконец, картография отражала технологические изменения и рост науки. Развитие геометрии облегчило отображение неровностей земли на плоскости. Телескопы позволяли топографам делать более точные измерения, а воздушные шары и самолеты помогли картографам взглянуть на мир с высоты птичьего полета и изобразить его таким, каким он был виден сверху, а не с точки зрения путешественника, находящегося на поверхности. Эти новые технологии развивались рука об руку со стремлением к точности и способствовали развитию представления о четко разделенных территориях, границы между которыми разделяли не только правительства, но и культуры, каждая из которых считалась дискретной. Печатное слово способствовало внутренней стандартизации языка и — с появлением массового читателя в XIX веке — других особенностей культур, становившихся все более и более «национальными». Благодаря новым техникам печати карты стали более доступными и начали играть более важную роль в конструировании повседневного сознания своей собственной страны и ее места в мировой системе национальных государств.

Картография продолжает развиваться и сегодня, например, с появлением съемки со спутников. Но эта книга не о картографии. Основная задача этого примера состоит в привлечении внимания к тому, как карты стали изображать мир состоящим из национальных государств. Страны, отделяемые на них друг от друга, существуют как политические, социальные и культурные конструкции. Они не определяются физической природой мира, что можно заметить при сравнении «политической» карты, которая разделяет страны, с картой, которая использует цвета и другие средства для отображения растений, осадков или возвышенностей, а не границ национального государства. Страны

на политических картах получили свои границы в результате событий, которые — по крайней мере потенциально — можно проследить в истории: они не «примордиальны» (доисторичны). И они не являются исторически неизменными: несмотря на свою относительную древность, они могут меняться. Тем не менее мы привыкли считать национальные государства данностью. Они всегда-уже существуют, представляя собой готовые ответы на наши обычные вопросы о способах управления, структуре или сплоченности населения и характере культуры. Это единицы, от которых Организация Объединенных Наций получает представителей и для которых она, как и Всемирный банк и другие организации, собирает статистику.

Обычно мир на картах отображается разделенным на национальные государства. Такой подход был стандартным уже в XIX веке, но в каком-то смысле весь мир был заполнен ими лишь недавно. Это было связано с освобождением от европейского колониального правления, и, хотя некоторые исключения остаются, этот процесс в основном завершился к 1960-м годам. Конечно, иногда встречались и неевропейские колониальные страны, вроде Эфиопии, которая пыталась править Эритреей вплоть до 1991 года. Возможно, по большей части символически, Советский Союз также был «антинациональным государством». На картах, описывающих глобальное население, экономику, здоровье или другие аспекты, Советский Союз обычно изображался в виде огромного пустого пространства. Отчасти это объяснялось нехваткой данных и неопределенностью статуса отдельных республик, входивших в его состав. Но Советский Союз был еще и последним символическим оплотом сопротивления разделу мира на национальные государства. И хотя его правители, когда им это было выгодно, не гнушались использо-

вать националистические настроения, а советская политика во многом была отражением русского национального господства над другими национальностями, Советский Союз старался сохранить единство территории многонациональной империи. В этом отношении коммунизм олицетворял собой не только обобществление экономики, но идеологию, альтернативную западной. Ибо Запад отстаивал идеал капитализма, который предполагал существование политически самостоятельных национальных государств, участвующих в более или менее свободной торговле как внутри страны, так и на международной арене. После краха Советского Союза представители различных национальностей стали заявлять о своей независимости и требовать представительства в ООН и на картах мира. Этот пример напоминает нам о том, что, хотя национализм часто бывает укоренен в старых идентичностях, он также возникает благодаря появлению новых возможностей и обстоятельств и наличию международной риторики, которая используется при озвучивании притязаний на внимание мировой общественности и преданность граждан.

Большинство карт часто — возможно, даже слишком часто — составлялось с опорой на европейский опыт и подход. Именно поэтому на обычных картах в центре находится Европа. Поверхность мира не имеет никакого логического географического центра. Для составителей этих карт Европа была социальным, культурным и политическим центром. Большинство из нас видело карты, которые, критикуя этот европоцентристский взгляд, помещают Австралию наверху, а Африку в центре или изображают континенты пропорционально действительным географическим территориям (на обычных проекциях Европа и Северная Америка выглядят больше, чем они есть на самом деле). Но нам

также необходимо сознавать, что карты побуждают нас считать национальные государства данными и неизменными, а себя — само собой разумеющимся способом отображения мира. Такой организации мира в виде системы предположительно равнозначных национальных государств всего пара сотен лет. Раньше многие местные общины не были тесно связаны с тем или вовлечены в политические дела того, что мы теперь считаем «своими странами». С другой стороны, империи организовывали политическую жизнь, которая не ограничивалась рамками большинства современных государств. Даже сегодня существуют другие важные основы для идентичности и солидарности, которые не согласуются с этой моделью национального государства, — религия, например, особенно для тех, кто, как многие исламисты, отвергает различие между религиозной и светской властью и стремится к созданию единых религиозных государств. В странах существуют важные внутренние различия, которые под воздействием идеи общей национальной культуры могут оставаться незамеченными. А с новыми масштабными международными миграциями появилось немало людей, которые имеют множество пересекающихся «национальных» идентичностей.

Как замечает Крис Ханн (*Hann* 1995: 123), «демаркация культур при помощи точных линий на карте, как того требует национализм, сложное, если не невозможное занятие». Конечно, четкими линиями на карте трудно разграничить не только культуры. Экономические отношения также пересекают национальные границы и — по крайней мере для некоторых граждан — даже личные отношения. И хотя эти линии имеют весьма определенное значение для одних политических целей, для других они крайне двусмысленны.

## ЭССЕНЦИАЛИЗМ

Национализм не определял всего, хотя и был его наиболее важной составляющей, молчаливого согласия, созданного в конце XIX века, относительно того, что следовало считать политически значимыми идентичностями. Он сыграл главную роль в возникновении «эссенциалистской» мысли, которая также стала основой для конституирования расовой, гендерной, сексуальной ориентации и других видов коллективных идентичностей (*Calhoun* 1995: Ch. 8). «Эссенциализм» означает сведение всего многообразия населения к какому-то одному признаку, составляющему его главную «сущность» и наиболее важное свойство. Это часто сопровождается утверждением, что «сущность» неизбежна или дана от природы. Принято считать, что эти культурные категории относятся к реально существующим и дискретно опознаваемым совокупностям людей. Более удивительно, что многие также считают, что можно понять каждую категорию (скажем, немцев, женщин, черных или геев), сосредоточив внимание на первичном определяющем признаке, а не на том, каким образом он пересекается с другими, оспаривает и/или усиливает их.

Иными словами, в современной социальной и культурной мысли существовало молчаливое согласие относительно того, что люди обычно принадлежат к одной и только одной нации, одной и только одной расе, обладают одной гендерной и одной сексуальной ориентацией и что все эти аспекты четко и ясно описывают определенную сторону их бытия<sup>5</sup>. Считалось, что люди естественным образом жили

<sup>5</sup> Дюбуа (*Du Bois* 1989) оспорил такое представление в своем понятии «двойного сознания», хотя и сосредоточил внимание глав-

в одном мире в одно время, вели один образ жизни, говорили на одном языке и сами как индивиды представляли собой единичные, целостные сущности. Все эти предположения прочно закрепились к концу XIX века, и все они кажутся проблематичными.

Двумя другими направляющими посылками в современном осмыслении вопросов идентичности являются посылки о том, что индивиды в идеале стремятся достичь максимально целостных идентичностей и что для этого они должны жить в непротиворечивых, единообразных культурах или жизненных мирах. Это одна из причин того, почему националистические лидеры обычно утверждают, что, для того чтобы быть полностью свободными индивидами, людям необходима своя, самостоятельная нация. Например, считается, что люди должны жить в одной культуре в одно время; говорить на одном языке; придерживаться одних и тех же ценностей; быть преданными государству. Но почему? Не на основе исторических или сравнительных данных. Напротив, на всем протяжении истории и даже сегодня нередко встречается многоязычие; встречаются люди, движимые одновременно различными мировоззрениями (не в последнюю очередь религиозным и научным), люди, способные считать себя членами совершенно по-разному организованных общностей — от семей до местных общин, государств или провинций, наций и международных организаций — и воспринимать себя через разные идентично-

ным образом на определенных трудностях, которые эта «двойственность» доставляла чернокожим американцам. Более широкое развитие этого направления мысли, показывающее также способы, которыми националистическая мысль повлияла на осмысление расовой идентичности, см.: *Gilroy* (1993).

сти в разное время или на различных этапах жизни. Цивилизация процветала и в полиглотских и более гетерогенных империях, и в космополитических торговых городах. На самом деле националистическое видение внутренне единообразных и четко ограниченных культурных и политических идентичностей часто бывает вызвано и поддерживается борьбой против более богатой, более многообразной и более случайно пересекающейся игры сходств и различий.

Современность, по иронии судьбы, сопряжена одновременно с попыткой «прояснения» и «усиления» идентичностей и созданием намного более широкой области культурных различий — как вследствие расширения охвата и коммуникационной простоты взаимодействия, несмотря на различия, так и вследствие поощрения новых свобод в культурном творчестве. Она не была эпохой простого единообразия, а включала в себя противоречивые тенденции. Идея, что люди «естественным образом» чувствуют себя как дома в самоочевидном гомогенном сообществе, оспаривается созданием государств и культурных областей, слишком больших и дифференцированных, чтобы быть организованными в виде единых сообществ. Дом, как известно, — это место, где тебя всегда готовы принять. И важно, что именно из этого чувства обладания домом многие люди выводят идеи о принадлежности к нации. Даже когда это чувство обладания домом напрямую не связано ни с одним определенным «националистическим» политическим проектом, оно служит мощной основой для таких проектов; оно подготавливает почву для мобилизации людей, солидарных с остальной «своей» нацией; оно способствует идентификации с нацией, которая делает привлекательным представление о ее превосходстве, так как оно предполагает определенное превосходство для тебя самого. В этом отношении политика



национализма всегда содержит в себе внутреннюю, связанную с принятием официальных образов нации, и внешнюю составляющие. Поэтому она не является удовлетворительным ответом на человеческие различия, позволяющим каждому человеку найти группу, в которой он будет чувствовать себя как дома. Несомненно, это ощущение пребывания у себя дома весьма привлекательно. Но оно должно по крайней мере уравниваться достоинствами публичного пространства для взаимного общения, несмотря на различия, как внутри национальных групп, так и между ними<sup>6</sup>.

В конце XIX века, когда глобализация политической и экономической организации и мировые течения культуры дос-

<sup>6</sup> Рассуждения о пребывании «дома» были одним из мест, в которых философия Мартина Хайдеггера резонировала с побуждениями, мобилизованными нацизмом. Акцент на «публичном пространстве» был одним из важных моментов, в которых философия бывшей ученицы Хайдеггера Ханны Арендт отличалась от философии ее учителя. Обращая внимание на этот хайдеггерианский аспект национализма, Гиберно объясняет его тем, что «современные общества создают некую онтологическую ненадежность как следствие неопределенности и фрагментации, которая лежит в их основе» (*Guibernau* 1996: 134). Однако потребность людей в идентичности не позволяет сказать ничего о том, почему они останавливаются на каком-то определенном уровне или определении идентичности. Люди могут искать источники онтологической надежности, сталкиваясь с социальными противоречиями и непредсказуемым миром, но люди сталкивались с такой ненадежностью на всем протяжении истории и находили отдушину не только в нациях, но и в семьях, общинах и религиях, и даже отвечали вступлением в публичное пространство, а не только поисками чувства дома.

тигли беспрецедентного уровня, стремление организовывать социальную жизнь с точки зрения четких границ, национальных идентичностей и эссенциалистских культурных категорий также достигло своего пика. Именно тогда националисты в Европе начали решительно выступать за ограничение иммиграции, и именно тогда они выступили против социализма отчасти потому, что он был интернационалистским (Хобсбаум 1998: 195–196). Именно в этот период оформился современный антисемитизм. И именно в этот период национализм стал чаще всего отождествляться — в европейском контексте — с движениями за отделение, а не объединение существующих государств (Carr 1945: 24–25). Никогда прежде не делалось большего акцента на автономии национального государства или способности идеи нации определять крупные коллективные идентичности. Но это произошло именно тогда, когда мир стал бесспорно интернациональным. В этом может заключаться определенный урок для нынешней эпохи, когда ускорение глобальных процессов накопления капитала, стремительное глобальное распространение технологий, почти одновременное распространение культурных продуктов и огромные волны миграции привели многих к убеждению, что национальное государство скорее всего растворится в тени истории.

### Сложное явление, множественные причины

Исследователи предлагали множество объяснений национализма. Он объяснялся как результат сохранения этнических идентичностей (Гипу 2004; Smith 1986; Hutchinson 1994), политических и культурных изменений, связанных с индустриализацией (Gellner 1964; Геллнер 1991), сепаратистских ответов

на неравномерное экономическое развитие со стороны жителей периферии интегрированной экономики государства (Hechter 1975), опасений насчет статуса и *ressentiment* новых элит, притязающих на отличие от старых элит или от своих соседей (Greenfeld 1992) и изобретения идеологии для легитимации государств при капиталистических экономических отношениях (Хобсбаум 1998) или для усиления централизации и единства, связанного с государственным строительством (Tilly 1975, 1990; Mann 1993, 1995). Все эти и другие факторы способствовали возникновению националистических движений и распространению националистического дискурса. Но ни один из них не объясняет его полностью. На самом деле, признание какого-либо из этих факторов «главной переменной», объясняющей национализм, делает объяснение редукционистским. Такое объяснение неспособно ухватить все, что можно вполне обоснованно считать национализмом, произвольно сводя национализм к чему-то еще, обычно чему-то меньшему, хотя и проще измеримому. Эти факторы объясняют различные *содержания* национализма или *процессы*, связанные с национализмом, но они не объясняют форму нации или самого националистического дискурса.

Исследования, указывающие на эти различные особые «причины» или «независимые переменные», могут быть весьма проникательными и полезными, но они оставляют без внимания более общее влияние, которое оказывает на мир национализм. Хотя отчасти их привлекательность обусловлена очевидным стремлением к простоте объяснения, они не образуют общей теории или единой истории национализма<sup>7</sup>. Чаще всего это объясняется обращением

<sup>7</sup> Из дискуссий о сложности теоретического осмысления всех проявлений национализма, в отличие от создания таксономии нацио-

к гетерогенным объектам анализа. На уровне практической деятельности существует множество различных национализмов; идея нации неразрывно связана со множеством различных аспектов нашего понимания мира, противоположными государственными политиками и необычайно многообразными социальными движениями. При объяснении каждого случая необходимо использовать по крайней мере частично различные переменные, связанные с особыми историями и другими причинными факторами, такими, как политика государственных элит или динамика социальных движений. Структурные факторы, от роста государственной мощи до глобализации капитализма — могут создавать обстоятельства, для осмысления которых используется националистический дискурс. Но использование дискурса национализма частично не зависит от этих особых обстоятельств и способствующих факторов и связывает между собой иначе несопоставимые явления.

Множество различных движений, идеологий, политик и конфликтов конституируется отчасти благодаря использо-

нализмов и теорий (во множественном числе) различных измерений национализма, см.: *Hall* (1995). То же касается и марксизма как неакадемической дисциплины и/или междисциплинарного поля. Как утверждает Нейрн (*Nairn* 1977), марксизм не смог создать серьезной теории национализма, несмотря на то (или, возможно, вследствие того), что международное движение рабочего класса потерпело серьезный провал в борьбе с призывами национализма в начале XX века (см. также: *Debray* 1977; *Connor* 1984). Андерсон (*Андерсон* 2001: 28) утверждал, что «национализм оказался для марксистской теории неудобной аномалией и по этой причине она его скорее избегала, нежели пыталась как-то с ним справиться».

ванию терминов, вроде «нации», «национальный», «национальности», «национальное государство» и «национальный интерес». Общим знаменателем, скажем, японского экономического протекционизма, сербских этнических чисток, пения американцами «Усеянного звездами знамени» перед бейсбольными играми и способа сбора статистики Всемирным банком служит дискурсивная форма, которая определяет и связывает всех их, хотя она может и не давать полного причинного объяснения каждого из этих случаев. Так, бретонский сепаратизм, панарабский национализм и заявления участников китайского студенческого движения протеста о том, что они готовы умереть во имя будущего Китая, появлялись в различных исторических обстоятельствах, но все они объединялись общей риторикой. Они могут иметь и другие общие знаменатели, но ни один из них сам по себе не определяет их в качестве «национализмов». Так, на всех них влияет некое чувство недовольства силой, богатством или привилегиями, которыми пользуются другие группы. Все они формируются властью современных государств. Но это не определяет их как случаи национализма.

Всякий раз, когда политический лидер использует риторику национализма, а не, к примеру, риторику коммунистического интернационализма, это имеет большое значение. Когда восставшие крестьяне заявляют, что они представляют угнетенную нацию, это существенно отличается от исключительной опоры на язык класса или религии. Когда романист (или художник, или композитор) преподносит свое произведение в качестве воплощения духа нации, это отличается от подачи его в качестве произведения гения, не помнящего родства, или космополитического гражданина мира. Невозможно определить общность этих различных форм национализма единственной объяснительной перемен-

ной — например, государственным строительством, индустриализацией, неравномерным экономическим развитием или *ressentiment*. Общим является *дискурс* национализма. Он не объясняет полностью всей специфики этих действий или событий, но он помогает конституированию каждого из них благодаря созданию общей культуры.

Геллнер (Геллнер 1991: 127) отчасти признает такую возможность, отмечая, что «именно национализм порождает нации, а не наоборот». Это во многом близко к моему предложению считать национализм прежде всего дискурсивной формацией. Геллнер отвергает простой этнический детерминизм: «На каждый действительный национализм приходится энное количество потенциальных, то есть таких групп, которые имеют общую культуру, унаследованную от аграрных времен, или какие-то иные связи... и которые *могли бы* претендовать на образование однородного индустриального общества, но тем не менее не идут на борьбу, не активизируют свой потенциальный национализм и даже не пытаются это сделать» (Геллнер 1991: 107). Но, следуя этому указанию, нам необходимо тщательно избегать утверждения, что нации создаются просто для удовлетворения политического принципа национализма (ср.: *Hobsbawm and Ranger* 1983). Это означало бы, как сетовал Андерсон (Андерсон 2001), что нации, вызванные таким образом, представляют собой скорее чисто произвольные творения идеологии и не являются вполне реальными. Вместо этого следует признать многомерность дискурса национализма. Этничность — это всего лишь один из потенциальных источников однородности и взаимных обязательств; хотя однородность и взаимные обязательства характерны для многих наций (или националистических идеологий), они не свойственны всем им. Люди также объединяются (и разделяются) государственной вла-

стью и военной силой, участием в политике и другими институциональными формациями. Нации имеют множество источников, в том числе сам дискурс национализма.

## НЕДООЦЕНКА НАЦИОНАЛИЗМА

Почти 150 лет тому назад Карл Маркс и Фридрих Энгельс писали: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Вам нечего терять, кроме своих цепей!» Поводом к этому была волна революций, которая прокатилась по Европе около 1848 года вслед за широким экономическим кризисом. Маркс и Энгельс (*Маркс и Энгельс* 1955) включили свой лозунг в Манифест, написанный ими для недавно созданного (но недолго просуществовавшего) Союза коммунистов — первого коммунистического Интернационала. Они писали: «В Лондоне собрались коммунисты самых различных национальностей и составили следующий “Манифест”, который публикуется на английском, французском, немецком, итальянском, фламандском и датском языках». И экономический кризис, и революционный ответ имели важное международное измерение.

Но Маркс и Энгельс ошибались, считая, что пролетариям всех стран было нечего терять, кроме своих цепей, и что большинство согласится поставить принадлежность к пролетариату над принадлежностью к своим отдельным нациям, религиям и другим культурным или этническим объединениям. Революции 1848 года, по сути, были второй волной революций, в которых соединились проблемы экономических прав, национальной автономии и участия (хотя не всегда демократического) в политических процессах. Первая прокатилась в конце XVIII века с Американской и Великой французской революциями, ставшими ее кульминацией. Стоит

остановиться и отметить, что в обоих случаях это были международные волны и что сами революции носили международный — и националистический — характер. В 1776 и 1789 годах символом этого может служить Том Пейн — великий английский революционный демократ, написавший свои «Права человека» в контексте Американской революции и избранный в Национальное собрание революционной Франции. Шестьдесят лет спустя европейцы говорили о «весне народов», когда казалось, что все угнетенные народы могли получить самовыражение и суверенитет (*Kohn* 1967; *Meinecke* 1970). В 1848 году рабочие всей Европы и Америки следили за борьбой поляков за национальную независимость, а имя Костюшко было у всех на устах. Немецкие портные, проживавшие в Лондоне, отправляли деньги для того, чтобы помочь не только франкфуртскому парламенту, но и французскому Национальному собранию. А после подавления немецкого восстания Соединенные Штаты приняли первую крупную волну иммиграции немцев.

Волнообразное развитие продолжилось с середины XIX века в националистических движениях, вдохновлявших друг друга в международном масштабе и во многих случаях связанных с революциями<sup>8</sup>. В 1910-х годах Первая миро-

<sup>8</sup> На самом деле одним из наиболее спорных вопросов в социалистических кругах был вопрос о необходимости международного согласования революционных планов и возможности их осуществления посредством стихийных массовых восстаний, о которых говорили Роза Люксембург и другие теоретики. После русской революции большевики использовали свое главенствующее положение в международном социалистическом движении, выступив против «стихийных действий» и массовых восстаний. В целом придерживаясь коммунистического интернационализма, СССР—



вая война совпала с распадом Австро-Венгерской империи и способствовала совершению русской революции и созданию Лиги наций. Американский президент Вильсон внес в Лигу идею «национального самоопределения», которая не только отражала, но и сама оказывала влияние на националистические движения того времени. Точно так же, как «младоевропейское» движение в 1840-х годах встретило отклик в среде «младотурок», война и распад Османской империи привели к возникновению успешного турецкого националистического движения, которое пришло к власти в стране в 1923 году при Кемале Ататюрке. Тогда же свою современную форму принял и египетский национализм, который долгое время вел вполне успешную самостоятельную борьбу и даже соперничал с арабским национализмом. Это время было не менее важным для национализма в Индии, Кореи и — с меньшим акцентом на колониализме — Китае.

Крах коммунизма в 1989 году вызвал еще одну международную волну националистических движений. Они появились не только в бывших коммунистических, но и во многих других странах, где изменившийся международный баланс сил создал новые возможности для повстанцев (а распространение обычных вооружений после 1989 года придало им новую военную силу)<sup>9</sup>. Множество факторов связано

особенно при Сталине и после падения Троцкого — пошел по пути построения «социализма в одной, отдельной взятой стране», который во многом определялся русским (и / или советским) национализмом и который привел Москву к сокращению помощи множеству революционеров в других странах. См.: *Claudin* (1977).

<sup>9</sup> Конечно, националистические движения существовали на всем протяжении XIX и XX веков; они действовали не только тогда, когда геополитические перевороты и крах империй приводи-

с объяснением каждой из этих волн. Крах империй и изменение глобального равновесия сил сыграли, наверное, наиболее важную роль в создании возможностей для эффективных действий националистов (Gellner 1995: 6). Крах империй также сделал национализм более привлекательным вследствие ослабления способности имперских центров обеспечивать экономические блага и даже простую безопасность и мир тем, кем они правили. Но на волнообразное развитие повлияло и возникновение международных коммуникаций. Сообщения о националистических восстаниях и их успехах распространялись посредством миграций, конференций, книг, газет, радио, а с конца XX века — через телевидение и даже компьютерные сети. Существование одних националистических движений, таким образом, способствовало появлению других и служило для них образцом и идейной основой.

Особенно важно, что этот международный дискурс национализма помогает объяснить, почему люди, недовольные самыми разными вещами, облачают свою борьбу в ритори-

ли к волнам таких движений. Например, палестинская борьба за независимое национальное государство постоянно велась после создания современного еврейского государства Израиль. Точно так же афганская националистическая борьба под влиянием исламского возрождения началась еще до кризиса коммунизма в 1989 году и способствовала ослаблению советского государства (как и эритрейское националистическое движение, закаленное в борьбе с феодально-имперской Эфиопией, которое продолжало свою борьбу и после того, как Эфиопия стала страной-сателлитом Советского Союза и тем самым способствовало падению коммунистическо-националистического правительства «Дерга» во главе с Менгисту Хайле Мариамом).

ческие рамки национализма. Недовольство может быть вызвано экономическими, политическими или культурными обстоятельствами, но само по себе оно не вызывает восстаний или социальных движений<sup>10</sup>. Валлийцы, недовольные отсталостью своей страны и своими материальными возможностями, могут выражать свое недовольство и преследовать свои цели как при помощи классового, так и при помощи националистического движения<sup>11</sup>. На самом деле

<sup>10</sup> Тезис о том, что для возникновения социальных движений недостаточно простого недовольства, является одной из основных идей теории мобилизации ресурсов, которая утверждает, что люди всегда выражают недовольство, а различия в степени этого недовольства объясняют движения хуже, чем различия в способности организаторов совершать согласованные действия, связываться с последователями, обеспечивать материальные ресурсы и т. д. См.: *McCarthy and Zald* (1976); *Oberschall* (1973); *Tilly* (1978). Однако теория мобилизации ресурсов не позволяет понять, почему движения организуются вокруг особых констелляций идентичностей, ценностей, проявлений недовольства и требований. Иными словами, она оставляет без рассмотрения культурные факторы. Она помогает нам понять, почему одни националистические движения могут добиться успеха, а другие терпят провал, почему они развиваются волнообразно, но она не объясняет, почему они являются *националистическими*.

<sup>11</sup> Идея Майкла Хектера (*Hechter* 1975) о роли, которую сыграло сочетание внутреннего колониализма с экономической отсталостью в возникновении национализма на «кельтской периферии» Британии, кажется вполне убедительной в том, что касается факторов, рассматриваемых теорией мобилизации ресурсов, и более убедительной в том, что касается объяснения причин того, почему национализм стал привилегированной риторикой для выра-

классовые движения встречали большую поддержку среди валлийского населения — иногда в сочетании с националистическими идеями, иногда совсем без них. Точно так же можно утверждать, что распространение валлийского методизма во многом было обусловлено теми же недовольством и заботами, которые определяли политику рабочего класса и валлийский национализм. Почему национализм начинает доминировать именно в тех условиях и для одних, а не для других людей в якобы национальном населении — это вопросы, на которые можно ответить только в особых контекстах со знанием местной истории, характера государственной (и иной элитарной) власти и борющихся за преданность возможных или действительных движений<sup>12</sup>. Но решающее значение имеет наличие и преобладание дис-

жения недовольства и формулирования целей и требований. Последний вопрос необходимо рассматривать с точки зрения исторического конструирования и распространения дискурса национализма и его воплощения как в британском государстве с доминированием Англии, так и в других местах.

<sup>12</sup> Социальные движения никогда не возникают в изоляции. Исследования, посвященные только одному движению — классовому, религиозному, националистическому, гендерному или иному, упускают связь каждого движения со всем полем движений; см.: *Calhoun* (1993a). Тактика определяется примером и участием индивидов в нескольких движениях — одновременно или с течением времени. Само существование множества движений, несмотря на, возможно, скромные успехи, способствует распространению идеи о том, что коллективное действие вполне может изменить мир и не обязательно сталкивается с репрессиями. Это «когнитивное освобождение» чрезвычайно важно для социальных движений в целом (см.: *McAdam* 1982, 1986).

курса национализма, и это касается как локальной истории (не только потенциального повстанческого национализма, но и государства, которое господствовало над ним), так и международной коммуникации.

Советский Союз долгое время считался образцом интернационализма и преодоления национализма и исторического противоборства наций в Восточной Европе и Советском Союзе. В одной из книг серии о советском опыте, выпускавшейся государственным издательством «Новости», Ненароков и Проскурин утверждали, что

при социализме исчезают не только социальные антагонизмы, но и национальная вражда и расовое угнетение во всех видах... Социалистическая многонациональная культура обогащается благодаря усиленному обмену культурными и духовными ценностями. Социалистические нации, которые появились в СССР, образовали новую историческую общность — советский народ... Сегодня без преувеличения можно сказать, что весь советский народ ощущает себя одной семьей.

*(Nenarokov and Proskurin 1983: 44)*

Волна националистических движений после 1989 года показала ложность таких утверждений, хотя не следует забывать о том, что при коммунистическом правлении этническая и националистическая борьба была намного слабее.

Жители Запада не только недооценивали потенциал для возрождения национализма в Советском Союзе и Восточной Европе: они также грезил о его исчезновении во всем мире. Так повелось издавна. Каждый раз после спада предшествующей волны многие ведущие ученые и представители общественного мнения облегченно вздыхали и поспешно объявляли недавние националистические движения про-

сто «переходными» или даже последними, которые видел мир. В своей основе такие убеждения восходят к мечте Иммануила Канта о «вечном мире» (Кант 1966). Идея распространения мира укоренилась не только в просвещенческой мысли в целом, но и в социальной науке. Она преобладала, например, в великом эволюционном синтезе XIX — начала XX века. Герберт Спенсер (Спенсер 1882) связывал основное развитие современной истории с переходом от «военных» обществ к «промышленным» и предсказывал, что промышленные державы будут стремиться к миру между собой, дабы не навредить своим коммерческим интересам. Почти о том же в 1930 году говорил и крупный французский историк Эли Халеви (Halevy 1930), оглядываясь на Первую мировую войну и не предвидя Второй. Как и многие другие исследователи предмета, он считал насильственный национализм исключением из того, что должно было быть историческим правилом. Понимаемый исключительно как помеха долгожданному распространению мира во всем мире, национализм пренебрежительно считался возвратом к прошлому, следствием незавершенных процессов или феноменом, требующим специального объяснения через обращение к особым историческим обстоятельствам<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> Сожалея о таком отношении к национализму — и этничности в целом — как к особому случаю или второстепенному фактору в мировой истории, Дэниел Патрик Мойнихан (Moynihan 1993: 10–11) пишет: «Сегодня на Земле есть всего восемь государств, которые существовали в 1914 году и с тех пор не пережили насильственного изменения формы правления. Ими являются Великобритания, четыре нынешних или бывших члена Содружества наций, Соединенные Штаты, Швеция и Швейцария. Из остальных 170 или около того современных государств одни были созданы со-

Ни один другой крупный социальный и политический исследователь не осуждался так за неспособность оценить важность национализма, как Маркс и Энгельс. Возможно, это объясняется излишней самонадеянностью Маркса и Энгельса в вопросе интернационализма в середине XIX века. Как и другие, они не осознавали, что само слово «интернациональный» означает не отсутствие наций, а их главенство. И все же Маркс и Энгельс видели в национализме нечто важное, хотя и серьезно недооценивали его<sup>14</sup>. Они подчеркивали легкость, с которой идеи национальной преданности могли использоваться элитами для того, чтобы побудить рабочих перестать бороться за свои права и экономические интересы в своих странах и сосредоточиться на внешних угрозах. Их интернационализм сформировался под влиянием эпохи, когда государственный аппарат почти полностью исключал народное участие и когда инакомыслящие представители нации, как они сами, вынуждены были жить в изгнании, общаясь со своими единомышленниками из других наций (*Kramer 1988*). Маркс и Энгельс во многом сохраняли немецкую национальную идентичность, но в своих сочинениях они выказали слабое понимание того, насколько ис-

всем недавно, чтобы они могли хорошо познакомиться со всеми предшествующими “прелестями”, но при создании большинства других наиболее важную роль сыграл этнический конфликт. И все же можно изучать международные отношения на протяжении всего XX столетия, старательно не замечая этого».

<sup>14</sup> Эрика Беннер (*Benner 1995*) предложила убедительное развитие идей Маркса и Энгельса, которое показывает, каким мог бы быть их анализ национализма, если бы они уделили ему должное внимание. Более широкий обзор марксистских подходов см.: *Nimni (1991)*.

кренней была националистическая преданность и насколько важными были националистические идентичности для самопонимания рабочих. Соответственно, они не смогли предвидеть, что во время Первой мировой войны рабочие будут готовы умереть даже за крайне двусмысленные «национальные интересы» (эти национальные интересы выражались главным образом с точки зрения корпораций и колониальных предприятий экономических элит), а их теории оказались бесполезными для осмысления этого. В равной степени они не смогли предвидеть того, что после коммунистических революций могли появиться режимы вроде сталинской России, которые не только не создали бесклассового общества, не только превратили возможный рай для рабочих в ад политических репрессий для многих, но и проводили великодержавную политику по образцу старых империй, отвергая национальную автономию в границах Советского Союза и отрекаясь от дела интернационализма во имя интересов советского государства.

Прежде всего Маркс и Энгельс не смогли представить, что лишь немногие откликнутся на реальные материальные вызовы глобальной капиталистической экономической интеграции «просто как рабочие». Во всех этих случаях были важны и другие идентичности. Рабочие страдали от экономических лишений как главы семей, как члены местных общин, как верующие, как граждане, а не просто как рабочие. Активисты рабочего движения пытались сделать так, чтобы рабочие считали пролетарскую идентичность своей основной идентичностью, и с этой задачей они справлялись не слишком успешно. На самом деле, даже когда рабочие считали себя представителями пролетариата, большинство из них продолжало воспринимать себя в качестве представителей своей особой профессии или занятия — печатни-



ками, ткачами, часовщиками или портовыми работниками, а не просто рабочими. В особенности это касалось квалифицированных и относительно привилегированных рабочих, которые вполне могли бы возглавить более широкую мобилизацию рабочего класса, но зачастую сторонились менее квалифицированных недавних иммигрантов и просто тех, кто не состоял в профсоюзе. И только с появлением относительно цельных государств на идее общей принадлежности к чему-то, называемому нацией, и вере, что законное правительство покоится на согласии управляемых (обе эти идеи принадлежат Новому времени), экономическое неравенство могло проявиться в чем-то вроде современных классовых различий. Маркс и Энгельс не смогли осознать того, что эти другие идентичности — сообщества, профессии, религии, нации — не только существовали, но и определяли реакцию людей на глобальный капитализм. Они не были в этом одиноки; большинство их академических коллег совершили ту же ошибку, и исследователи, политики и журналисты сегодня продолжают считать, что проблемы вроде социальной справедливости и глобальной экономической интеграции существуют независимо от таких проблем, как националистическое брожение и религиозный фундаментализм. Это не так.

## 2. РОДСТВО, ЭТНИЧНОСТЬ И КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ ИДЕНТИЧНОСТИ

Национализм, как мы видели, исключительно современен. Он представляет собой способ конструирования коллективных идентичностей, который появился вместе с преобразованиями в государственной власти, расширением дальних экономических связей, новыми средствами коммуникации и транспорта и новыми политическими проектами. Но это не значит, что в национализме все ново. Особые националистические идентичности и проекты продолжали опираться на давние этнические идентичности, на местные родственные и общинные отношения и на заявленную связь с наследственными территориями. В этом заключался важный источник культурного содержания, эмоциональной привязанности и организационной силы таких идентичностей и проектов.

Тем не менее в аналитическом отношении важно отличать национализм от этничности как способа конструирования идентичности, а также то и другое вместе от родства. Различие касается не просто содержания, так как этничность часто преподносится как расширение родства, а националисты обычно представляют нации как большие семьи, имеющие общую культуру и происхождение. Ключевой вопрос скорее связан с тем, что представляют собой эти формы со-

лидарности и как они воспроизводятся. И здесь большое значение имеют два тесно взаимосвязанных различия: между сетями социальных отношений и категориями схожих индивидов и между воспроизводством через непосредственные межличностные взаимодействия и воспроизводством посредством относительно безликих сил широкой культурной стандартизации и социальной организации.

Хотя национализм, этничность и родство представляют собой три различные формы социальной солидарности, они могут пересекаться — или артикулироваться друг с другом — в различной степени в различных обстоятельствах. В одних случаях они могут взаимно усиливать друг друга, в других — противоречия между ними могут вызывать серьезные проблемы при попытке создания более широких «национальных» общностей в многоэтнических обществах. Концентрация внимания на различиях и отношениях между ними важно не только для понимания таких особых случаев, но и для преодоления ложного противопоставления, которое присутствует во многих исследованиях национализма. Несмотря на сложность и неоднозначность позиций наиболее проницательных исследователей, многие авторы в конечном итоге пришли к взаимоисключающим объяснениям национализма через этничность и через государственное строительство и своекорыстную мобилизацию элит. Они писали так, словно обращение к ранее существовавшему, самоочевидным узам было обращением к древней истории, а не к особой форме продолжающегося социального и культурного воспроизводства и словно демонстрация изобретения и манипуляции означала, что национализм не имеет никакого отношения к этничности и не черпает свою силу из эмоциональных привязанностей людей, присутствующих в их повседневных социальных отношениях.

## Конструкция и примордиальность

Один из наиболее серьезных водоразделов в литературе о национализме пролегает между «конструктивистами», или «инструменталистами», и «примордиалистами». Первые придают особое значение историческим и социологическим процессам, посредством которых создаются нации. Многие («инструменталисты») подчеркивают, что это «изобретение» зачастую является сознательным и манипуляционным проектом, который проводится в жизнь элитами, стремящимися обезопасить свою власть, мобилизуя последователей на основе националистической идеологии. В утверждении, что националистические лидеры зачастую манипулируют чувствами и идентичностями своих последователей, содержится немало истины. Также очевидно, что нации — это не вечные сущности, существующие с начала времен.

С другой стороны, историческое исследование обнаруживает примечательную преемственность между современными национальными культурами и их предшественницами, а также в строении геополитических регионов и отношений. Мы также можем наблюдать, что национализм черпает значительную часть своей силы из феноменологического переживания простых людей, что их нации всегда уже существуют. Многие отличительные особенности национальных культур, например язык, не создаются индивидами. Скорее индивиды становятся личностями в социальных отношениях, которые уже сформированы культурой. Кроме того, некоторые из этих отношений, вроде семейных и этнических уз, могут казаться настолько важными, что люди — по крайней мере в определенных обстоятельствах — не могут представить себя без них.

Отрицать реальность или важность этих наблюдений неразумно. Очевидно, что люди воспринимают свои социаль-

ные миры всегда отчасти данными им до их собственных действий. Не менее очевидно, что многие аспекты этих социальных миров, включая разграничение наций, являются продуктами человеческой деятельности, подверженными потенциальной манипуляции. На деле только националистические идеологи склонны отстаивать «примордиалистские» позиции, утверждая, что нации существовали в более или менее близком к современному виде с начала истории. Социологи, занимающиеся изучением национализма, в целом признают как (1) роль исторических изменений и человеческой деятельности, так и (2) различие между признанием сильных привязанностей, складывающихся в близких личных отношениях людей и раннем культурном опыте, и возможностью и способом перевода этих привязанностей в националистические. Последний момент подчеркивался одним из наиболее крупных представителей так называемого «примордиализма» антропологом Клиффордом Гирцем (*Гирц* 2004).

В то время как большинство «конструктивистов», или «инструменталистов», стремится показать, что *и* национализм, *и* этничность зависят от человеческой деятельности и даже манипуляции, Гирц отстаивает различие между ними, позволяющее осмыслить отношения между национализмом и этничностью. Хотя многие поздние авторы представляют Гирца теоретиком «примордиального национализма», этнические узы, на его взгляд, кажутся примордиальными с позиций жизненного опыта<sup>15</sup>. Его основная идея заключалась в том, что во многих новых государствах (например, странах, созданных в Африке после ухода колониальных держав) наиболее сильными «данными» или «само собой разумею-

<sup>15</sup> Термин «примордиальный» был введен в оборот Эдвардом Шилзом (см. особ.: *Shils* 1957).

щимися» привязанностями у людей могут быть привязанности к этническим группам, например «племенам»<sup>16</sup>. Эти «примордиальные» узы представляют потенциальную угрозу для проектов гражданского национализма и гражданского общества.

Во все большей и большей степени национальное единство поддерживается не призывами к братству по крови и почве, а малопонятной, пунктирно очерченной и соблюдаемой скорее по привычке верностью гражданскому государству, что в большей или меньшей мере дополняется использованием государством полицейских сил и идеологических проповедей... Рассматриваемые как общества, новые государства чрезвычайно подвержены проявлениям серьезного недовольства, основанного на изначальных привязанностях... Экономическое, классовое или интеллектуальное недовольство чревато революцией, а недовольство, питаемое расовой, языковой или культурной дискриминацией, таит в себе угрозу расчленения, ирредентизма или, наоборот, поглощения, угрозу перекраивания самих границ государства, иного определения его территории.

(Гипу 2004: 297–299)

<sup>16</sup> См. также: Davidson (1992). Как заметил Эке (Ekeh 1990), в социальной антропологии и исследованиях Африки постепенно термин «племя» был заменен «этнической группой». Если понятие племени акцентировало внимание на важности родственных отношений (которые, как утверждает Эке, играли все более важную роль вследствие слабости африканских государств, с позиций которых критиковался «трайбализм»), то введение понятия этнической группы делало неуместным детальное и серьезное изучение родства. Это привело к навязыванию категориального понятия — совокупность индивидов, обладающих общей этничностью — вместо относительного.

Отчасти это объясняется тем, говорит Гирц, что эти этнические и другие «примордиальные» узы являются узами такого же общего порядка, что и нация, поэтому они вполне годятся для того, чтобы служить конкурирующей основой для создания новой нации или изгнания отдельных представителей из существующей. Нация, которая считается соответствующей новому государству, может казаться менее сплоченным, эмоционально более слабым и более искусственным объединением.

Конструктивистская позиция, как правило, наоборот, недооценивает влияние культуры и силу кажущихся самоочевидными идентичностей, связанных с решением практических задач в мире. Но конструктивисты приводят веские доводы даже против наиболее утонченных теорий примордиальной этнической идентичности, наподобие гирцевской. Они отмечают, что культуры редко бывают настолько дискретными, непересекающимися и различными, что они «автоматически» становятся основой для различных социальных объединений. Скорее, как заметил Пол Брасс, множественными и зависимыми от выбора и обстоятельств идентичности людей — даже самые «примордиальные» — бывают гораздо чаще, чем обычно признают примордиалисты (*Brass 1979, 1991*). Само ощущение принадлежности к сплоченной и четко ограниченной группе не просто передается традицией, но возникает в определенных контекстах, особенно при наличии напряженных отношений с другими группами или вследствие усилий лидеров, направленных на мобилизацию последователей на основе этой коллективной идентичности.

Одна из ключевых идей, выдвигаемых конструктивистами, заключается в том, что существование культурных общностей или сильных эмоциональных связей, о которых говорят примордиалисты, не гарантирует того, что какая-то отдельная

общность разовьет чувство идентичности или будет мобилизована для политического действия, не говоря уже о притязаниях на статус нации. «Учитывая существование в многоэтничном обществе множества культурных различий между народами и действительные и потенциальные культурные конфликты между ними, — вопрошает Брасс, — какие именно факторы играют решающую роль в определении того, какое из этих различий, если таковые вообще имеются, будет использовано для создания политических идентичностей?» (Brass 1979: 88–89). Проблема не просто в существовании культурных общностей, а в их конструировании и реконструировании, когда к ним обращаются лидеры или идеологи. «Лидеры этнических движений всегда берут из традиционных культур только те аспекты, которые, как они считают, будут служить сплочению группы и которые будут полезны при преследовании интересов группы, как они определяются ими» (Brass 1979: 87).

Итак, необходимо поставить следующие вопросы: 1) почему, для того чтобы чувствовать себя как дома, люди зачастую не ограничиваются только непосредственными личными отношениями, а обращаются к более широкой категории нации? 2) почему нации, которые на самом деле являются историческими конструкциями, начинают казаться «примордиальными»? 3) почему националистические лидеры и идеологи притязают на историю и как они используют ее при мобилизации людей во имя националистических целей?

## ИЗОБРЕТЕНИЕ ТРАДИЦИИ

В своей влиятельной работе Эрик Хобсбаум и Теренс Рейнджер (Hobsbawm and Ranger 1983; см. также: Хобсбаум 1998) рас-



смотрели множество случаев «изобретения» национальных «традиций» элитами, занимавшимися государственным строительством. Например, новые государства, возникшие после ухода колониальных держав из Африки, часто создавали мифологические описания своих доколониальных истоков, героизма антиколониальных основателей или общностей своих граждан. Неудивительно, что они преуменьшали степень того, насколько их границы и население зависели от конфликтов и компромиссов между колониальными державами. Они стремились насадить объединяющую национальную культуру посредством образовательных программ, связанных с государством средств массовой информации и создания государственных церемоний. Обычно представляемая в качестве особой национальной культура все же редко бывала прямым продолжением «примордиальной» местной культуры. Зачастую своим существованием она во многом была обязана колониальным державам (и опыту сопротивления этим колониальным державам), которые способствовали объединению членов различных племенных, этнических или региональных групп.

И, по-видимому, это не было чем-то чрезвычайным. Это особенно заметно в новых государствах, но подобные конструирование и реконструирование общих традиций присутствовали в националистических преобразованиях более старых государств Европы и Азии. Описание Камелота у Теннисона и повести Скотта о Северо-Шотландском нагорье способствовали изобретению «памятного» прошлого для Англии и Шотландии<sup>17</sup>. Коммунисты и республикан-

<sup>17</sup> Тревор-Рупер (*Trevor-Roper* 1983) показывает, что даже такой важный символ национальной идентичности, как шотландский килт, во многом был предметом реконструкции и изобретения в кон-

ские националисты вместе занимались избирательным освоением и реконструкцией прошлого Китая, включая элементы его древнего прошлого и описания не слишком давней борьбы. На самом деле китайские образовательные практики отличаются прежде всего использованием поучительных повествований, будь то рассказы о «Великом походе» коммунистов или истории попроще — об обычных людях, которые пошли на жертвы ради своей бригады, своей семьи или своей нации (*Bakken* 1994). Такие повествования обычно несут идею о националистической преданности и других добродетелях. Конечно, когда они разоблачаются как мифы, а не факты, это ведет к снижению их ценности. Тем не менее они формируют более широкий обыденный опыт и базовую культуру большинства китайцев.

Таким образом, Хобсбаум и Рейнджер совершенно правы, говоря об изобретенном характере многих национальных традиций. Большие сомнения вызывает идея о том, что раскрытие изобретения делает традиции несостоятельными<sup>18</sup>. Неясно, почему дело должно обстоять именно так. Хобсбаум и Рейнджер, по-видимому, полагают, что давняя, «примордиальная» традиция может так или иначе считаться легитимной (посылка националистических ученых XIX века, которые пытались найти «истинные» этнические основы нации; см.: *Skurnowicz* 1981 о Польше и *Zacek* 1969 о Чехосло-

тексте шотландского сопротивления английскому господству; он получил широкое распространение только в начале XVIII века.

<sup>18</sup> Андерсон (*Андерсон* 2001: 31) обнаруживает тот же недостаток и у Геллнера: «Геллнер настолько озабочен тем, чтобы показать, что национализм прикрывается маской фальшивых претензий, что приравнивает “изобретение” к “фабрикации” и “фальшивости”, а не к “воображению” и “творению”».

вакии), и по контрасту с этим утверждают, что националистические традиции представляют собой недавние и, возможно, манипуляционные творения. Такой подход кажется вдвойне ошибочным. Во-первых, все традиции являются «созданными»; ни одна из них не является по-настоящему примордиальной, это признавали даже ранние функционалисты, вроде Эйзенштадта (*Eisenstadt* 1966, 1973) и Гирца (*Girz* 2004). Все эти творения также являются потенциально спорными и подверженными постоянному видоизменению — явному или скрытому. Во-вторых, силу традиции (или культуре вообще) придает не ее древность, а ее непосредственность и данность. Некоторые представления националистов могут быть исторически сомнительными, но они все же вполне реальны в качестве аспектов жизненного опыта и основы для действия<sup>19</sup>. Они принимаются в качестве бессознательных посылок людьми, которые сознательно оценивают имеющиеся возможности<sup>20</sup>. Какие-то идеи, напротив, могут

<sup>19</sup> Это социологическое суждение восходит к теореме У.А. Томаса, согласно которой то, что мы считаем истинным, является истинным для нас (см. развитие этой идеи в кн.: *Мертон* 2006). В исследованиях Пьера Бурдьё (*Бурдьё* 2001), посвященных воспроизводству культуры как когнитивного содержания и как додискурсивного, материального отношения к миру, дано более глубокое теоретическое обоснование этой идеи. Как утверждал Эдвард Шилз (*Shils* 1981), традицию следует считать не просто относительно устоявшимся содержанием культуры, а активным процессом «развития». См. также: *Calhoun* (1983).

<sup>20</sup> Иными словами, они в буквальном смысле являются предрассудками в гадамеровском понимании этого слова (*Гадамер* 1988, 1991). Предрассудки не просто предшествуют суждению, но служат условием суждения. Существование в исторической тради-

казаться необедительными потому, что ими слишком явно манипулируют, или потому, что предлагаемый миф не связан с жизнью и практическими заботами конкретных людей. Промежуточное положение занимают истории, которые признаются частью ортодоксальной идеологии, но которые, как сознают люди, могут быть поставлены под сомнение<sup>21</sup>. Люди могут даже участвовать в публичных ритуалах, подтверждающих рассказы, спорность которых им известна, но при этом осуществлять идентификацию с ними как с «нашей историей», разделяя заговорщическое чувство в создании этих вымыслов и признавая их базовыми условиями повседневной жизни. Неважно, срубил ли Джордж Вашингтон вишневое деревце на самом деле и был ли Хафиз Асад действительно первым фармацевтом в Сирии.

ции открывает возможность познания мира, а не просто служит источником ограниченности или исторических заблуждений; см.: *Warnke* (1987). И все же традиции действены только тогда, когда они живут и, следовательно, изменяются; они черпают свою силу из своей способности давать понимание мира, применимое в практической деятельности, а не из эмпирически доказуемых притязаний на некую изначальную истину.

<sup>21</sup> Используя терминологию Бурдье (*Бурдье* 2001), мы можем выделить не только гетеродоксию или признание легитимности множества верований и ортодоксию, но и «доксическую» установку, которая считается неоспоримой. Культурная традиция воспроизводится при помощи социальных практик, которые ограничивают возможность экспериментирования с альтернативами и препятствуют поискам других способов осмысления. Этничность включает нас в ткань таких практик и в социальные группы, которые постоянно воспроизводят их и могут считать всякое сомнение на их счет проявлением неояльности.

Невозможно провести различие между государствами, показав, что одни из них созданы, а другие — нет, но можно показать, что одни национальные идентичности оказались более убедительными, чем другие, и более способными стать частью непосредственной основы для действий граждан и неоспоримым (или трудно оспоримым) средством передачи культуры. Поэтому при мобилизации людей против эфиопского правления важна была не древность эритрейского национализма, а ощущение реальности своей принадлежности к эритрейскому народу<sup>22</sup>.

Наоборот, когда обстоятельства и практические задачи меняются, даже внешне устоявшиеся традиции оказываются подверженными разрушению и изменению. Так, индийские националисты с XIX века до Неру смогли сделать значимым (хотя и вряд ли однородным или неоспоримым) единство множества субконтинентальных идентичностей в своей борьбе против британцев. Уход британцев из Индии изменил значение национализма Индийского национального конгресса, но именно он стал программой индийского государства — одной из нескольких возможных конструкций этого государства, вопреки тем, кто сопротивлялся иностранному правлению вне официальной политики. Еще одним следствием этого было открытие риторического пространства для альтернативных национализмов и «коммунальных» и других локальных требований, которые было гораздо проще сдерживать в колониальную эпоху (*Chatterjee* 1994). Оппозиция между примордиальностью и «простым

<sup>22</sup> Доводы в пользу древности больше важны при обращении к внешним наблюдателям, включая Международный суд ООН и тому подобные органы. Об Эритрее см.: *Gebre-Ab* (1993); *Iyob* (1995) и *Selassie* (1989).

изобретением» оставляет открытой необычайно широкую область историчностей, в которых национальные и другие традиции могут обрести реальную силу.

Лидеры, которые мобилизуют людей на основе считающихся примордиальными связей, иногда используют националистическую риторику, а иногда пытаются закрепить определение наций прежде всего с точки зрения этнических идентичностей, что подчас ведет к губительным последствиям и геноциду. Там, где идеи национальной или этнической идентичности сливаются с расовой мыслью, примордиализм разрастается и становится особенно опасным: в качестве примера здесь можно привести не только Германию при Гитлере, но и не такие уж давние события в Бурунди и Руанде. Но геноцид не является простым следствием сочетания расовой мысли с национализмом: это более сложный результат этнического многообразия и связанных главным образом с государством политических проектов. В империях, как будет показано ниже, вообще не было геноцида. Наиболее известные случаи геноцида связаны с «модернизирующимися» государствами, опиравшимися на дискурс национализма. Сочетание расовой мысли с национализмом ведет не только к стигматизации «чужаков среди нас», но и к укреплению национальной солидарности по отношению к внутренним культурным различиям. Это одна из функций расовой мысли, которая обрела огромную силу в Китае в XX веке (*Dittkower* 1993). Возможно, она способствовала китайскому притеснению этнических меньшинств и осуществлению экспансионистских проектов, вроде колонизации Тибета. Но она также способствовала распространению ханьского китайского, несмотря на языковые и региональные различия как в самом Китае, так и среди диаспор и поселений во многих других государствах.

Идея нации обычно связана с утверждением о необходимости «превосходства» некой особой этнической идентичности над всеми остальными формами идентичности, в том числе общинными, семейными, классовыми, политическими и иными этническими привязанностями<sup>23</sup>. Такие утверждения делаются не только националистами и другими участниками этнической политики, но и — неявно — всем спектром обычных высказываний в западной исторической и социальной науке, так как наше интеллектуальное наследие было сформировано националистической идеологией и опытом национального строительства. Так, мы обычно относимся к этническим группам, расам, племенам и языкам, словно они являются объективными единицами, лишь иногда напоминая себе о двусмысленности их определений, проницаемости их границ и ситуативности их использования на практике. Суть не в том, что такие категориальные идентичности

<sup>23</sup> Это не значит, что национализм стирает важность всех остальных идентичностей. Это значит, что националистический дискурс оказывается необычайно сильным по отношению к идеалам, которые Джон Шварцмантель связывает с социализмом: «...социалистическая идея нации является или должна быть “плюралистической”, считающей национальную идентичность одним из проявлений лояльности среди других и отвергающей идею нации, выдвигаемую “интегральным” национализмом, согласно которой нация считается высшей и превосходящей все остальные формой проявления лояльности, которой они должны быть полностью подчинены» (*Schwarzmantel* 1991: 5). Националистический дискурс обычно признает, что достойные члены нации могут обладать и иными привязанностями, но не позволяет этим иным привязанностям оспаривать важность нации в вопросах, имеющих определяющее значение.

нереальны—более нереальны, чем нации; суть скорее в том, что они не фиксированы, а текучи и подвержены манипуляциям. Культурные и физические различия существуют, но их дискретность, их выделение и отношение к ним всегда различны. Более того, отношение таких культурных и физических различий к социальным группам всегда сложно и проблематично. Этническая идентичность конституируется, поддерживается и проявляется в социальных процессах, которые связаны с различными целями, конструкциями значения и конфликтами (*Бафт* 2006). О своих притязаниях заявляют не только возможные соперничающие коллективные идентичности; также ведется соперничество за то, что означает всякая отдельная этническая или иная идентичность. Короче говоря, различные сходства и общности, называемые «этническими», вполне могут вызывать у людей предрасположенность к националистическим заявлениям и даже вызывать у других предрасположенность признавать важность таких заявлений, но трудно считать этничность «субстанцией», которая напрямую вызывает и объясняет национальность или национализм.

#### Родство, происхождение, этничность и национальность

Современные нации часто имеют исторические корни в старых этнических идентичностях. Но национализм—это особый способ осмысления коллективной идентичности, отличный от этничности, а сама этничность—это лишь один из способов организации коллективных идентичностей в прошлом. Тесно связанной с ними, но более базовой и глубокой была риторика родства и происхождения. Значение



национализма станет более понятным, если сравнить его с другими способами конструирования связей и коллективной идентичности.

Все люди, живущие сегодня, и все, известные нам исторически, имеют определенный метод счета идентичностей и связей друг с другом через родство и происхождение<sup>24</sup>. Они состоят в браке, имеют представления о происхождении, семье и способах приобретения наследства и коллективной идентичности по отцовской или материнской линии или по обеим вместе. Но, несмотря на важность родства и признание ценности семьи во всех обществах, родство и происхождение играют разную роль в организации жизни этих обществ. Например, в современных западных обществах родство или происхождение не так важны, как раньше (когда наследственные аристократические титулы и даже наследственные права на земельные наделы крестьян были очень важны, а вопрос о том, кто от кого происходит, мог иметь решающее значение при определении того, кто на ком должен жениться), и играют куда меньшую роль, чем в некоторых других обществах (например, индийском, где группы, имеющие общее происхождение, обычно связаны с определенной профессией, причем браки должны

<sup>24</sup> Родственниками в широком смысле слова являются те, кого связывает либо происхождение от общего предка, либо узы брака. Родством, таким образом, можно называть всю совокупность отношений и идентичностей, сформированных брачными и единокровными узами, — родственников «по браку» и «по крови». Но антропологи часто проводят различие между ними, потому что происхождение часто играет особую роль в формате групповых идентичностей, отличном от широкого спектра родственных отношений.

заклучаться внутри этих групп). Среди талленси Северной Ганы, как и среди многих других «традиционных» и относительно слабо развитых в технологическом отношении обществ мира, родство и происхождение служат (или до недавнего времени служили) основным принципом организации почти всей социальной жизни (Fortes 1945, 1949; Calhoun 1980). Они определяют, кто и с кем работает в экономическом производстве; они направляют религиозную практику (связанную с почитанием предков); они служат основой для отбора и почитания вождей.

В современных разговорах о нации часто используется язык родства и происхождения. Лидеры привлекают своих сторонников, заявляя о своей преданности своим «братьям» и описывая угрозу чистоте нации, если их сестры имеют детей от иностранцев. Люди говорят о своей нации как о большой семье, настаивают на существовании кровных уз или рассуждают о том, как их предки сражались с их давними врагами в каких-то давних битвах.

Но важно отметить, что использование языка родства и происхождения при описании нации способно вводить в заблуждение. Например, в современных Сербии, Хорватии и Боснии родству и семье безусловно придается особая ценность. Они могут играть даже большую роль в организации социальной жизни, чем, скажем, в Англии, Соединенных Штатах или Австралии. Православных христиан, католиков и мусульман учат поклоняться не их предкам, а богу и разным святым. Пост президента не является наследственным ни в одной из этих трех стран. Хотя бизнесмены могут оказывать покровительство своим родным и двоюродным братьям в каждой из этих стран, их экономики организованы во многом на основе денежных покупок, торговли на большие расстояния и фабричных и иных предприятий,

в которых родство не является основой для получения работы и организации производства.

Кроме того, утверждения националистических лидеров, говорящих: «Мы—одна семья», действуют совершенно иначе, чем сама семья у народов, для которых она является более важной. Сербские или хорватские лидеры, которые говорят об этом, имеют в виду, что «мы» одинаковы, «мы» едины, «мы» связаны прочными узами, «нас» никогда не должна разделить преданность меньшим или пересекающимся группам. Талленси признали бы моральную силу таких увещаний, и иногда члены их семей могли бы призывать к поддержке своих родственников в схожих терминах. Но, будучи представителями родового общества, они всегда сознают, в отличие от сербской и хорватской риторики, что семья относится к иному масштабу лояльности. Существуют нуклеарные семьи родителей с детьми, минимальные родственные связи между двумя или более такими нуклеарными семьями с общим родителем (скажем, отцом двух братьев, которые могут жить под одной крышей и вместе заниматься сельским хозяйством) и различные промежуточные родственные связи, доходящие вплоть до максимальных родов, объединяемых (предполагаемыми) общими предками на протяжении 10–12 поколений. В результате большие семьи всегда состоят из меньших семей. Не существует какой-то одной, фиксированной единицы, настолько важной, чтобы талленси всегда считали ее, а не большую или меньшую группу своей семьей (и если это не так для групп происхождения, это еще менее справедливо для сложных сетей родственных связей, сформированных посредством браков). Какой из уровней семьи будет иметь значение—зависит от ситуации.

Все роды талленси также входят в кланы, которые заявляют об общем происхождении, но не могут проследить его

напрямую. Клань — это крупные *категории* более или менее эквивалентных членов, а не структуры определенных родственных *отношений*<sup>25</sup>. Клань не делится на подвижную шкалу клановых составляющих, как роды естественным образом делятся на иерархию более крупных и менее крупных сегментов. Но клань экзогамна и потому участвует в создании родственных отношений между индивидами. Когда мужчина и женщина вступают в брак, это создает новую сеть отношений между кланями, родами и отдельными членами семьи. Тем самым создается основа для совместной деятельности в случае необходимости — заключения новых браков, торговли или улаживания споров. Короче говоря, родство и происхождение связывают талленси друг с другом (1) в плотную, сложную и систематически организованную сеть опознаваемых и четко определяемых отношений — отца/сына, старшего брата/младшего брата и т. д. и (2) в несколько категорий, в рамках которых люди разделяют общие идентичности в качестве равных членов единого целого, наподобие кланов. Всякий раз, когда два талленси встречаются друг с другом, они могут с высокой степенью точности установить, насколько они связаны брачными узами или общим происхождением и где такие сходства заканчиваются и начинаются различия, связанные с происхождением.

<sup>25</sup> Это различие особенно заметно в классической этнографии нуэров у Эванс-Притчарда (*Эванс-Притчард* 1985). См. также более общую систематизацию: *Nadel* (1957). Во многом переносу этого представления в современный социологический язык способствовал Хэррисон Уайт. К сожалению, решающую роль здесь сыграла устная традиция преподавания, поскольку он так и не опубликовал своей важной ранней статьи, посвященной этому вопросу (см.: *White* 1992). См. также: *Calhoun* (1991).

Американец, или босниец, или китаец может идентифицировать себя со своей семьей, своей округой, своей школой, своим городом, своим государством и страной в целом. Но отличительная особенность националистической риторики состоит в том, что (1) она может использоваться *только* для страны в целом (тогда как талленси могут использовать риторику родства для описания любого уровня в рамках всей своей системы групп и лояльностей) и (2) она предполагает, что — по крайней мере во времена кризиса — потребности всей нации обладают явным приоритетом над частными потребностями<sup>26</sup>. Если сегментарное родство настаивает, как гласит арабская пословица, использующая более воинственный язык, чем талленси: «Я против своих братьев, я и мои братья против моих двоюродных братьев и я, мои братья и мои двоюродные братья против остального мира», то суть национализма состоит в утверждении: «Ты никогда не должен выступать против своих братьев и вместе со своими братьями против своих двоюродных братьев; члены нашей национальной семьи могут выступать только против остального мира».

Национальность, таким образом, становится крупной категориальной идентичностью, которая включает меньшие

<sup>26</sup> Когда националистическая риторика используется для описания группы внутри страны, это значит, что использующие ее утверждают, что меньшая группа и есть настоящая нация, а большая страна состоит из множества наций или не является единой нацией. Так, шотландец может признавать, что Шотландия в данный момент является частью более крупной страны под названием Британия, но утверждать, что «британцы» — это нелегитимная национальность (или еще одно название англичан). Он будет считать Шотландию — и, возможно, Уэльс и Англию — нациями, а Великобританию — многонациональным государством.

категории (племена, этнические группы), каждая из которых может быть внутренне организована на основе других категорий и сложных сетей межличностных отношений. Националистическая риторика постулирует существование целых категорий людей независимо от их внутренней дифференциации или притязает на приоритет перед всеми такими внутренними различиями; идеально-типически человек является членом нации непосредственно как индивид. Риторика родства и происхождения образует общество — в той степени, в какой происходит обращение к такой более крупной целостности — как скопление различных и пересекающихся между собой объединений, ни одно из которых не способно возобладать над остальными; членом талленсийского общества можно быть только благодаря включению в сети родства и происхождения и клановые категории.

Этничность занимает некое промежуточное положение между родством и национальностью. Этнические идентичности становились исторически важными везде, где различные группы взаимодействовали друг с другом на общей территории. Они развивались главным образом там, где концентрация населения в городе, развитие надлокальных экономических связей и/или создание государства (особенно империи) втягивало различные и внутренне сплоченные народы в отношения между собой или с самим государством. Таким образом, этничность — это не просто продолжение родства, а способ, которым создается коллективная идентичность, когда преданность родству, традиции и другим средствам передачи общей культуры выходит на более широкую арену, где большая часть взаимодействия не организуется теми же родством и культурой, что и внутри группы.

Это произошло, когда талленси стали покидать свою традиционную область в поиске рабочих мест и когда в нее пришли британские колониальные власти. Когда талленси перебираются в город, они продолжают поддерживать родственные отношения. Но неталленси незнакомы с их семьями или родами; они кажутся относительно недифференцированной группой в силу своих общих культурных и поведенческих особенностей и внешнего вида. Считается, что общего происхождения достаточно для объяснения этих особенностей, но детали родства утрачивают свое значение, то есть они приобретают *этническую* идентичность и опознаются по своей этничности. И для тех, кто переселяется в города или взаимодействует с централизованными правительственными властями, имеется множество преимуществ для развития чувства этничности с его потенциалом для более общих связей, нежели те, что дает родство (Horowitz 1985). Но талленсийская этническая идентичность не имеет смысла вне Ганы: когда талленси покидают пределы государства, они берут с собой паспорта, в которых они называются просто ганцами.

Этничность становится заметной на границе между внутренними способами организации жизни группы (которые придают этничности большую часть ее культурного содержания) и внешними приписываниями свойств другими жителями большого города, страны или участниками экономики. Внутренне «этническая группа» может быть организована с точки зрения родства и происхождения или с точки зрения своего особого сочетания категорий и отношений. Внешне — по отношению к другим этническим группам или государству — она кажется категорией эквивалентных «этнических» членов. Это было справедливо как для евреев, греков, галлов и других неримлян при Римской

империи, так и для евреев, армянских христиан, греческих христиан и других общин при османах<sup>27</sup>. Это было важной особенностью «непрямого правления» в империях. Центральные власти взаимодействовали с промежуточными властями, которые отвечали за свои категории населения. Внутренняя организация населения интересовала центр во вторую очередь (если вообще интересовала)<sup>28</sup>.

Этнические идентичности отражают внутреннюю культуру, но отнюдь не нейтральным образом, а в соответствии с определенной логикой межгрупповых отношений. Как показали Фредрик Барт и его коллеги, люди часто меняют свои этнические идентичности, чтобы максимизировать свою выгоду в различных ситуациях (Барт 2006; см. также: Horowitz 1985). Возьмем Кению, где суахили обладает статусом национального языка, но различные этнические группы используют множество местных языков. При взаимодействии членов нескольких «племенных» групп, вроде кипсигис, кикую и масаи, они могут предпочесть выразить свою общую кенийскую национальность, используя суахили, или они могут выразить свои особые этничности, используя свои собственные, непонятные друг для друга языки. Лейтин (*Laitin*

<sup>27</sup> У римлян употребление слова *natio*, корня «нации», в этом отношении было эквивалентно этничности; оно означало просто людей, имевших общее происхождение и, соответственно, общий характер.

<sup>28</sup> И в более крупных, многоэтнических обществах этнические группы все реже организовывали свою жизнь с учетом родства и происхождения. Категория общей этничности оставалась такой же важной, как и семья на более низком уровне родства и брачных отношений, но вся система родства стала менее значимой, чем, скажем, для традиционных талленси.



1992) утверждает, что люди без труда управлялись с тремя языками — домашним языком (иногда только устным), преподаваемым в школе национальным, или региональным, языком и международным, или торговым, языком. Там, где элиты говорят на английском или каком-то другом международном языке, группы рабочих могут использовать местный язык или «пиджин», чтобы не дать начальству понять их и тем самым подчеркнуть свою этническую самобытность. В то же самое время рабочий, который хочет продвигаться по службе и преуспеть в культуре начальства, попытается улучшить свои навыки использования международного языка, чтобы сгладить этнические различия. Гибкий в повседневном взаимодействии, язык может стать очень острой проблемой, когда речь заходит о государственной политике, например, в отношении языка, преподаваемого в школах. В Эритрее, к примеру, предложение вести преподавание на местных языках вызвало протесты тех, чьи родные языки не имели развитой письменной литературы, в особенности потому, что эти группы состояли в основном из мусульман и предпочитали обучение на арабском. Короче говоря, многоязычность распространена необычайно широко, и ответ на вопрос об основной языковой лояльности людей далеко не очевиден; политика языка может быть гораздо сложнее простой идеи уважения к «национальному» языку.

В каждом отдельном случае культурные или этнические различия организуются по-разному. Это особенно очевидно там, где этничность конструируется в самых различных обстоятельствах у народа, разделенного диаспорой. Например, евреи не только этнически многообразны вследствие истории проживания в несопоставимых культурах, важные для евреев — и не только — черты еврейской идентичности существенно менялись вместе с контекстом. Таким обра-

зом, быть евреем означало одно для фараоновского Египта и для остальных народов, населявших территорию нынешней Палестины, другое — для имперского Рима и Магриба и третье — в различных средневековых и современных европейских контекстах и в современных Соединенных Штатах. В Германии это означало совершенно разные вещи до, во время и после Холокоста. Для бета-израэля — этнических евреев Северной Эфиопии, часто называемых фалаша, — быть евреем в Эфиопии означало нечто иное, чем в Израиле после переселения в него многих беженцев в 1980-х годах<sup>29</sup>. Хотя внешне иудейская религия объединяла всех израильтян, бета-израэль обнаружили, что их разделяла раса. Авторитеты, например, отвергали смешение «черной» крови

<sup>29</sup> Эфиопский (амхарский) термин «фалаша» на самом деле означает чужаков и потому имеет уничижительные коннотации. Тем не менее он стал широко используемым и общепринятым среди эфиопов. Слово «фалаша» использовалось эфиопами-христианами, чтобы обозначить евреев как чужаков, даже если фалаша были потомками древних эфиопов. На самом деле древнее Аксумское царство, важный предшественник того, что сегодня называется Эфиопией, было преимущественно еврейским во времена царицы Шебы (Македа) — в 1500 или 1600 годы до н. э. В V веке н. э. его правители приняли христианство и во многих случаях становились фанатичными приверженцами этой религии. Они сражались с иудеями с Аравийского полуострова, часть которого находилась под властью Аксумского царства, и с местными иудеями, которые не отреклись от иудаизма в пользу христианства. И с V века н. э. — и еще больше в следующем столетии — иудеи, хотя и имевшие то же расовое и этническое происхождение, что и другие местные жители, начали считаться чужаками и стигматизироваться в качестве таковых (см.: *Marcus 1994*).

с кровью других евреев. Ультраортодоксальные раввины отказывались считать бета-израэль полноценными евреями, пока они не пройдут через унижительный ритуал повторного обрезания. И, конечно, даже там, где раса не была главной проблемой, евреи, прибывавшие в Израиль из различных частей света, приносили с собой множество влияний оттуда, где раньше жили они и их предки, зачастую говорили на разных языках, прежде чем изучить иврит (государственный язык Израиля), практиковали различные формы иудаизма и в некоторых случаях выглядели совершенно по-разному.

Короче говоря, этнические идентичности не просто разбиваются изнутри: они создаются в мирах множественных этнических идентичностей. Они разделяются точно так же, как и объединяются; граница группы, помимо внутреннего сходства, предполагает также внешнее различие. И в этом этнические идентичности близки к национальным, которые также никогда не существуют сами по себе.

## Индивидуализм и категориальные идентичности

Национальность — лишь одна из многих «категориальных» идентичностей, которые приобрели центральное значение в современную эпоху. Им способствует крупный масштаб, но они не имеют четкой связи с каким-то определенным размером группы. Определяющая черта — выделение по сходству признаков члена, входящего в совокупность эквивалентных членов. Клань и возрастные группы — это категориальные идентичности в отличие, скажем, от происхождения, потому что индивиды являются их членами напрямую, а не через посредство сетей отношений. Как мы видели выше, карты с их пестрыми лоскутками стран отра-

жают категориальную идентификацию наций: они служат вместилищами для членов, которые схожи между собой, поскольку национальная идентичность является определяющей. Этот тип категориального осмысления наций оказывает большое влияние на социологов, которые считают единицей анализа национальные государства, как если бы каждое из них было более или менее целостным и четко ограниченным (см.: *Tilly* 1984).

Таким образом, дискурс национализма имеет много общего с дискурсами расы, класса, гендера и другими призывами к сплоченности, основанными скорее на сходстве индивидов, а не на конкретных сетях отношений. Индивиды — это единицы, которые объединяются в категориальные идентичности. Задолго до современного национализма многие религиозные идентичности действовали таким же образом (*Андерсон* 2001). Так, человек мог стать христианином через обращение независимо от того, кем были его родственники, и считалось, что христиане образывали группу — очень большую группу — благодаря своим общим убеждениям и практикам, а не благодаря какому-то особому родству или иным отношениям между ними. И хотя христиане вступали в такие отношения друг с другом, их было слишком много для того, чтобы подобные отношения могли стать исходной основой общей идентичности; каждый из них мог иметь непосредственные отношения только с небольшой частью целого. Христиане в различных местах отличались друг от друга, но — по крайней мере в принципе — не настолько, чтобы это имело теологическое значение. Средневековый католицизм был ближе к модели родства/этничности со своей включенностью в иерархию приходов и властей, которая считалась более значимой, и личным откровением, которому придавалось меньшее значение. Хотя их мобилизация осуществ-

лялась на региональной/политической основе, крестовые походы способствовали развитию более категориальной идентичности среди христиан благодаря противостоянию «язычникам», «неверным» или мусульманам.

Феодалная Европа сочетала свою опору на родство и происхождение (не только у претендентов на трон и аристократические титулы, но и у будущих наследников земельных наделов среди простых крестьян) с иерархией встроенных категорий: подданных феодальных господ на различных уровнях—от менее крупных сеньоров и рыцарей до крестьян. Иерархия определялась занятием и социальными правами и обязанностями. Города были аномалиями в рамках этой концепции «феодального» целого, хотя их «свободные» жители во многом делились на профессиональные корпорации и статусные иерархии. В гильдиях и схожих организациях родство могло играть важную роль, но все более и более распространенной официальной структурой членства была категориальная: существовали свободные подмастерья и дающие им работу мастера.

Многие в современной Европе считали феодальную Европу наивысшим примером традиционного общества, недооценивая тем самым его внутреннюю динамику и степень, в которой общества, определяемые родством и происхождением (и вообще не имеющие письменности и государственности), вроде талленси, отличались от современных обществ<sup>30</sup>.

<sup>30</sup> Эта проблема очевидна в веберовской разработке (*Вебер* 1988) идеи традиционного авторитета. Китай также был более динамичным, чем допускает сложившееся употребление слова «традиционный», но в конфуцианском понимании китайской имперской власти особое значение придавалось фигуре старейшины, которая связывала воедино все общество посредством родства

По мере модернизации Европы все больше росла опора на категориальные идентичности. Миграция и постепенная интеграция областей в более крупные государства привели к появлению этнических объединений. Протестантизм выделял особую категорию индивидов — «верующих». Неслучайно таким категориям верующих оказалось несложно отколоться от более крупной целостности. Протестантская Реформация и религиозный плюрализм привели к появлению множества религиозных категорий. Возникновение классовой системы вместо иерархии определенных отношений с взаимными обязательствами создало одну из наиболее впечатляющих категориальных систем, в основе которой, по замечанию Маркса, лежали пролетариат и буржуазия, состоявшие из совокупностей взаимозаменяемых членов<sup>31</sup>.

и происхождения. Так, в эпохи, когда имперская бюрократия и рыночная система преобладала над милитаризмом и феодальными господами, вся организация общества воспринималась как полностью построенная по образцу родства и происхождения (*Schrecker* 1991).

<sup>31</sup> В этом отчасти состоит идея овеществления труда и сокращения дифференциации навыков, которая, как утверждал Маркс, создает конкуренцию между рабочими в капиталистических производственных отношениях и позволяет капиталистам снижать стоимость рабочей силы. Но в результате отделения управленческих функций от отношений собственности и возрастания требований со стороны рынка, связанных с конкуренцией, введением новшеств, сокращением издержек, капиталисты в конечном итоге стали точно такими же взаимозаменяемыми; они были вынуждены выполнять требования более широкой стандартизированной капиталистической системы или обанкротиться, то есть перестать быть капиталистами.

Хотя нации могут иметь идеологии общего происхождения и родства, они организуются прежде всего как категории индивидуальных членов, выделяемых на основе различных культурных признаков — общего языка, религии, обычаев, имен и т. д. Кроме того, нации обычно считаются индивидами — неделимыми в буквальном и едиными, развивающимися в ходе истории, подобно тому как обычные люди проживают свою жизнь, в метафорическом смысле. И все же они подвержены делению. Националисты обычно говорят, что индивиды не в состоянии *осуществить* свою личную свободу, если население «несвободно» в смысле политического самоопределения, и одновременно требуют, чтобы индивиды предполагаемой нации твердо придерживались некоего общего стандарта культуры и поведения.

С точки зрения современного Запада, индивиды существуют в себе и сами по себе: ни сети отношений, ни всеобъемлющая иерархия не являются основным источником идентичности (Дюмон 1997; Taylor 1990; Evens 1995). Эта современная идея индивида как локуса неразложимой идентичности — по крайней мере потенциально самодостаточной, самостоятельной и саморазвивающейся — играет важную роль в национализме. Неслучайно современная идея нации возникает вместе с современными идеями «точечной самости» или индивида. Они созвучны друг другу. Когда Локк (Локк 1988), например, спрашивает, при каких условиях люди могут быть самостоятельными гражданами, он рассматривает природу ответственной личности вместе с возможностями распределения суверенной власти между гражданами. Лишение прав женщин и мужчин, не имеющих собственности, объясняется их зависимостью, неполной самостоятельностью. Вместо того чтобы составлять свое собственное мнение, полагает Локк, они будут находиться под влиянием других людей, от которых зависит их

существование и, по сути, идентичность. Идея общей воли у Руссо (*Russo* 1969a) предполагает социальное целое, наподобие нации, и в то же время воплощает его радикальную идею целостности и свободы — абсолютной неотчуждаемости — индивида. Общая воля в своей основе целостна — это не вопрос простого большинства голосов, но она также присутствует в каждом отдельном представителе целого. Хотя это казалось парадоксальным более поздним исследователям, Руссо схватывает нечто основополагающее для дискурса национализма, утверждая одновременно неделимость отдельной личности и всего сообщества и настаивая на возможности непосредственных отношений между ними.

Связи между историей индивидуализма и национализма, возможно, наиболее очевидны у немецкого мыслителя XIX века Иоганна Готлиба Фихте. Идея самопризнания у Фихте (*Fichte* 1968), личности, которая (как и в карикатуре на нее у Маркса), по-видимому, сталкивается с собою в зеркале и говорит «я есть я», неразрывно связана с идеей нации как индивида (см. также: *Meinecke* 1970)<sup>32</sup>. Точно так же как в образцовой современной мысли личности считаются едиными, так и нации предстают в виде целостностей. Вообще каждая нация считается неделимой и, следовательно, в буквальном смысле индивидуальной носительницей особой идентичности. Каждая нация имеет свой опыт и характер, нечто особое, что она предлагает миру, и нечто особое, в чем она выражает себя. «Нации — это личности с особыми талантами

<sup>32</sup> Шварцмантель (*Schwarzmantel* 1991: 37–40) ошибочно представляет идею нации у Фихте как простое господство и полное поглощение индивида, не замечая того, какой смысл вкладывает Фихте в самопризнание и саморазвитие как непротиворечивые аспекты личности и нации.



и возможностями раскрытия этих талантов» (Фихте, цит. по: *Meinecke* 1970: 89). Быть «исторической нацией», по выражению Фихте, значило преуспевать в этом процессе индивидуации и обретать особый характер, выполняя особую миссию и проживая особую судьбу. Другим нациям не доставало необходимых сил или национального характера, они были обречены на несостоятельность и погружение в болото истории. Современник Маркса, Фридрих Лист вслед за Фихте утверждал, что «нации были “вечными”, образующими единство в пространстве и времени» (*Szporluk* 1988: 115). Тем не менее Лист также полагал, что современные нации создали себя сами — в своеобразном коллективном *bildungsprozess*, который создает подлинную индивидуальность из гетерогенных элементов и влияний. Таким образом, в идеале нация была «общностью воли». Все множество членов категории становится единым в своей приверженности целому<sup>33</sup>.

Индивидуализм важен не только метафорически, но и как основа для центрального представления о том, что индивиды являются членами нации напрямую, что она метит каждого из них как обладающего особой идентичностью и что они связаны с нею полностью и непосредственно. В дискурсе национализма каждый является просто китайцем, французом или эритрейцем. Чтобы быть членом нации, индивиду не нужны опосредования семьи, общины, области или класса. Национальность понимается как атрибут индивида, не связанный с промежуточными ассоциациями. Этот образ мысли подкрепляет идею о национальности как о своеобразном козыре в игре идентичности. Хотя она не устраняет других са-

<sup>33</sup> Это преобразование имел в виду Маркс, говоря о развитии из «класса в себе» в «класс для себя», хотя диалектика кажется более зримой в случае наций.

мопониманий, в большинстве националистических идеологий она преобладает над всеми ними, по крайней мере во времена национального кризиса и нужды. Поэтому в фукианском смысле слова национальность считается вписанной в само тело современного индивида (Фуко 1996б, 1998, 2004; *Foucault* 1977; см. также: *Fanon* 1963). Следовательно, личность без страны должна считаться не имеющей не только места во внешнем мире, но и подлинной самости (ср.: *Bloom* 1990).

Дискурс национализма, как и дискурс класса, расы и гендера, не только подкрепляет представление об идентичности как вписанной и пересекающейся с телом индивида — он также закрепляет представление о том, что индивиды объединяются своей принадлежностью к совокупности абстрактных эквивалентов, а не своим участием в сетях конкретных межличностных отношений. И категориальные идентичности начинают преобладать над относительными отчасти вследствие того, что националистический дискурс обращается к крупным общностям, в которых большинству людей вряд ли удастся вступить в отношения лицом-к-лицу с большинством остальных.

Это означает также иное, отличное от более ранних представление о моральных обязательствах. Национализм также позволяет детям доносить на своих антинационально поступающих родителей, так как считается, что каждый индивид выводит свою идентичность напрямую из своего членства в нации. Это заметно отличается от дискурса родства и идеологии благородного происхождения, в соответствии с которыми дети становятся членами целого только благодаря своим конкретным и определенным отношениям с родителями и другой семьей.

Конечно, националистическая идеология может превозносить добродетели семьи, а националистические движения

могут быть укоренены во множестве межличностных отношений традиционного общества. И антиколониальные националисты могут придавать особое значение семье и местной общине, чтобы создать свою нацию вне официальной политической области, в которой преобладает колониальное государство. Представление о том, что китайцы не являются индивидуалистами, а ориентированы на семью, может служить отражением внутренних притязаний на национальную самобытность (такова «наша» китайскость), а также быть внешней атрибуцией. Тем не менее даже в китайском случае с его кажущимися бесконечными рассуждениями о «китайскости» программы сохранения или укрепления нации предполагали создание нового китайца. Описания нации редко обходятся без благожелательных упоминаний о семье и общине. Они не обязательно должны противоречить идее о том, что националистический дискурс обращается к крупной категории эквивалентных индивидов. Семья и община могут риторически считаться вещами или ценностями, которыми обладают все члены нации. Превозношение их помогает членам воспринимать целое в качестве продолжения своих более локальных привязанностей и, соответственно, более тепло относиться к нему.

С другой стороны, многие националисты считали влияние традиционных патриархальных семей и родственных групп слишком сильным и стремились освободить индивидов от него ради их же собственного блага и ради того, чтобы они могли лучше служить нации. Там, где заявленный приоритет нации сталкивался с другими категориальными идентичностями — расовыми, классовыми, гендерными, религиозными, почти всегда возникал конфликт. В каждом из этих случаев раскола нации возрастали в отличие от преобладавших относительных идентичностей, вроде семьи и общины, которые

не требовали этого. Таким образом, на индийском субконтиненте индуистская мусульманская, а в некоторых местах сикхская, христианская и другие религии стали крупными категориальными идентичностями, а не только социальными сетями. К ним могли обращаться даже люди, слабо вплетенные в ткань межличностных отношений со своими единоверцами. Категории часто столь же важны для южноазиатов, живущих в Европе, а не «дома», хотя такая жизнь за границей делает невозможным полное вплетение в ткань таких внутриэтнических отношений. Совпадение общины и религии привело к расколу утверждаемой нации и стало основой для соперничающих национализмов (*Jurgensmeyer* 1993). Схожая ситуация имеет место и в Северной Ирландии. Конечно, чем больше семейные и общинные отношения организуются в соответствии с различными категориальными идентичностями, то есть чем большее количество людей вступает в брак внутри категорий, живет только вместе со своими единоверцами, работает на этнически разделенных предприятиях, — тем больше совпадение категории и сети. В результате, общности получают более широкие возможности для мобилизации коллективного действия. Сочетание категории и сети может и не вести к увеличению межгрупповой вражды, но оно увеличивает вероятность таких враждебных действий и сокращает возможность гармоничного взаимодействия.

## ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭТНИЧНОСТИ

Этничность — один из возможных элементов, связывающих простое скопление личностей и делающих из них идентифицируемых (и самоидентифицируемых) людей. Она во многом может способствовать развитию национального само-

сознания и сплоченности. Плотные родственные отношения в этнической группе могут увеличивать социальную сплоченность, но к этому могут вести и соседская близость, присоединение к формальным организациям и совместный труд. Общая этническая культура может способствовать обеспечению социальной солидарности и коллективной идентичности, но членов различных этнических групп могут объединять и другие формы общей культуры и политического участия. Швейцария, Канада и Соединенные Штаты создали у себя политические и потребительские культуры, а также культуры средств массовой информации, несводимые к культуре какой-то одной из многих этнических групп внутри них. И многие защитники демократических политических культур возлагают большие надежды на то, что лояльность конституциям или политическим процессам и институтам сможет объединять людей, несмотря на этнические различия между ними.<sup>34</sup> В то же самое время народы, которые во многом разделяют общую культуру и которые могут даже считаться входящими в одну этническую группу, наподобие народов Британии, Новой Зеландии и Австралии, способны тем не менее образовывать различные нации. Ни социальная солидарность, ни общая культура не являются монополией этнических групп, хотя этнические группы содействуют их развитию. Коллективная идентичность не вполне

<sup>34</sup> Например, Юрген Хабермас (*Хабермас* 1995, 2001, 2005) предлагает идею «конституционного патриотизма» в качестве альтернативы этническому национализму. Локк (*Локк* 1988) предвосхитил такую оппозицию, отделив публичную область от семьи как раз на том основании, что первая может быть вопросом разумного выбора, а последняя неизбежно является вопросом дорациональной привязанности.

эквивалентна общей культуре и не полностью гарантируется ею, несмотря на свою несомненную полезность.

Короче говоря, этничность не делает социокультурные группы нациями. «Национализм — это не пробуждение и самоутверждение мифических, якобы естественных и заранее данных сообществ, — пишет Геллнер. — Это, напротив, формирование новых сообществ, соответствующих современным условиям, хотя и использующих в качестве сырья культурное, историческое и прочее наследие донационалистического мира» (Геллнер 1991: 115; схожие идеи выдвигаются: Андерсон 2001; Хобсбаум 1998; Chatterjee 1986; Kedourie 1994). Бройи (Breuilly 1993: 342) делает схожее замечание: «...следовательно, идеология — это не что-то внешнее по отношению к ранее существующей социальной реальности, а неотъемлемая составляющая этой реальности».

Национализм, таким образом, опирается на ранее существовавшие идентичности и традиции, а национальные идентичности отражают такие традиции. Но национализм серьезно преобразует существовавшие ранее этнические идентичности и придает новое значение культурному наследию. Этнические корни и культурная самобытность — это только часть аспектов (и даже не всегда обязательных) создания современных наций. Соединенные Штаты демонстрируют это со всей ясностью. Если граждане колоний, которые отвоёвывали независимость от Британии в конце XVIII века, и имели общую этничность, то она была английской (или, возможно, британской) и, следовательно, вряд ли служила основанием для отделения их от Великобритании.<sup>35</sup> Но они

<sup>35</sup> Ричард Мэдсен (Madsen 1995: x) рассказывает, как китайский пехотный генерал утверждал, что Тайвань не вправе притязать на независимость, потому что «люди на Тайване говорят по-ки-

также были этнически гетерогенны. Многие были англичанами, шотландцами, ирландцами или валлийцами; другие имели голландское или французское происхождение; некоторые, по крайней мере отчасти, были потомками африканских рабов или коренных американцев. И, конечно, Соединенные Штаты сохранили национальную идентичность, несмотря на принятие множества иммигрантов и возможность сохранения значительной этнической самобытности. Отчасти это объясняется тем, что Соединенные Штаты считались, по крайней мере отчасти, добровольным сообществом, а это значит, что принадлежность к нему зависела от сознательного решения, а не только от этнической или иной категоризации. В этом состоит одно из отличий «гражданского» национализма от этнического. Но со временем новая категориальная идентичность американцев и граждан Соединенных Штатов стала вытеснять идею о добровольном сообществе, и началось обсуждение вопроса о сущностных особенностях американской культуры.

Нетрудно представить, что этнические традиции просто наследуются от досовременной жизни. Как показал Энтони Смит (*Smith* 1986, 1991), в некоторых этнических традициях наблюдается заметная преемственность. Некоторые народы, описанные в книге Исхода, по-прежнему живут примерно там, где они жили несколько тысяч лет тому назад, и сохраняют внешне схожие идентичности. Но здесь нужно соблюдать осторожность. Во-первых, наличие преемственности

тайски, по культуре они — китайцы, их предки произошли с континентального Китая. Следовательно, они китайцы, и Тайвань должен быть частью Китая». Мэдсен возразил: «Если бы наши предки согласились с таким утверждением, мы бы по-прежнему оставались частью Англии».

в этнических традициях не объясняет, какие из этих традиций сохранятся или станут основой для наций или националистических притязаний (Геллнер 1991: 107). Во-вторых, традиции не просто наследуются, они воспроизводятся: истории необходимо рассказывать снова и снова, традиции частично должны приспосабливаться к новым обстоятельствам, чтобы оставаться значимыми, то, что кажется второстепенными новшествами, может серьезно изменить значение, а «морали» историй, уроки, извлекаемые из них, иногда меняются, даже если сами рассказы остаются неизменными. В-третьих, социальное и культурное значение этнических традиций существенно меняется, когда они записываются, и иногда меняется еще раз, когда они воспроизводятся для кино и телевидения. Иными словами, этнические традиции, тесно связанные с жизнью небольшой группы, когда они передаются изустно, имеют иное значение и оказывают иное воздействие на индивидов и общество, чем тогда, когда они воспроизводятся людьми искусства или исследователями, хранятся в священных текстах и проявляются в жизни множества различных небольших групп, имеющих свои собственные местные устные традиции.

Рассмотрим различие между тем, как происходит вплетение традиций в националистические истории, помогающие определить Индию, и тем, как локальные традиции помогают наделять идентичностью небольшие общины *в самой* Индии. Существует бесчисленное множество устных традиций, связанных с местными храмами, богами, предками и событиями. При написании своей влиятельной националистической истории «Открытие Индии» националистический лидер Джавахарлал Неру опирался на такие культурные традиции. Но созданное и записанное таким образом повествование имеет одного автора и отличается неизмен-



КРЭЙГ КАЛХУН

ностью, что не характерно для большинства местных традиций Индии. В тексте Неру целое отстаивается при помощи риторики и содержания, частично заимствованного из отдельных местных традиций. Но это делается на английском языке, общем языке, недоступном для местных традиций Индии, и это делается в каком-то смысле в ущерб многообразию и текучести местных традиций. Простое утверждение, что национализм основывается на этнических традициях, таким образом, не позволяет заметить важные различия в масштабе и способе воспроизводства.

### 3. НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИТЯЗАНИЯ НА ИСТОРИЮ

У национализма очень непростые отношения с историей. С одной стороны, он обычно поддерживает создание исторических описаний нации. И сама современная историческая наука сформирована традицией создания национальных историй, призванных наделять читателей и исследователей чувством коллективной идентичности. С другой стороны, националисты склонны писать историю под себя, создавая удобные описания того, «откуда мы пошли есть». Националистическая история наподобие «Открытия Индии» Неру (*Neru* 1955), является конструированием нации. Дело не только в том, что такая история не нейтральна. По самой своей природе националистическая историография, рассказывающая историю нации, не заботясь о точности фактов, на которые она ссылается, и стоящая на открыто воинственных или этноцентрических позициях, включает исторические события и участников независимо от того, имели ли они вообще какое-либо представление об этой нации или нет. «Открытие Индии» (впервые опубликована в 1949 году — в год провозглашения независимости Индии) не просто превращает дравидийцев или моголов в индийцев, но и делает их героями повествования, которое конструирует и реконструирует общую и предположительно вечную сущность — Индию. И победи-

тели, и побежденные в династических войнах и вторжениях становятся частью истории Индии. Точно так же учебники истории, созданные в новом пакистанском государстве, учат школьников, что Пакистан восходит в своих истоках к появлению ислама на Аравийском полуострове, и включают распространение империи моголов в историю современного Пакистана (*Jalal* 1995).

То же можно наблюдать и в повествованиях, посвященных истории западных стран. Конечно, Гражданская война в Америке была материальной борьбой за национальное единство, но символически она способствовала созданию общей американской истории для потомков тех, кто был убит с обеих сторон этого кровавого конфликта, а также для американцев, чьи предки прибыли позднее или держались от него в стороне. Это одна из причин того, почему тема братоубийства занимает такое важное положение в повествованиях о войне. Борьба между братьями помогает установить, что обе стороны действительно были членами одной семьи (*Андерсон* 2001: 215–220). Не случайно «Клятва на верность флагу», которую зубрило не одно поколение американских школьников, была ритуалом, созданным после Гражданской войны, и провозглашала страну «неделимой»<sup>36</sup>. Колониальный опыт преподносится американским школьникам как прелюдия к (неизбежному) формированию США. Коренным американцам и иммигрантам дано четкое место в националистических реконструкциях, хотя и не всегда то, которое выбрали бы они. Но написание истории — это не только вопрос памяти о каждом: это также

<sup>36</sup> От нее отказались в конце 1960-х — 1970-е годы под давлением антинационалистов, но в более шовинистические 1990-е она возродилась вновь.

вопрос стирания тех разногласий, которые способны ослабить нацию. Американским учебникам все еще проще замолчать разногласия эпохи Вьетнамской войны, чем рассказать о них (*FitzGerald* 1980; *Kramer, Reid and Barney* 1994). Точно так же с кончиной коммунистических режимов в Советском Союзе и многих странах Восточной Европы обычными стали обращения к докоммунистической эпохе как ко времени предполагаемого национального единства и «нормальности». Как заметил Лешек Колаковский (*Kolaskowski* 1992: 20): «...так как коммунизм был ужасен (и он действительно был таким), не было ничего необычного в том, чтобы поверить, что докоммунистическое прошлое, царской России в частности, было непрерывным праздником и весельем. В обоих случаях распространенное восприятие истории вряд ли имеет какое-то отношение к реальности. Бессмысленно сетовать на это. Самообман — необходимая часть жизни и индивида, и нации: он придает нам чувство моральной защищенности».

В совершенно иных обстоятельствах Франции конца XIX века Эрнест Ренан высказал во многом ту же идею о важности противоречий, скрываемых в националистических обращениях к истории:

Забывание — и, я бы даже сказал, историческое заблуждение — играет решающую роль в создании нации, и именно поэтому развитие исторических исследований зачастую представляет опасность для [принципа] национальности. И историческое исследование проливает свет на насильственные деяния, которые имели место при рождении всех политических образований, даже тех, чьи последствия в целом были благотворны. Единство всегда создается жестокостью.

(*Renan* [1882] 1990: 11)

Под «жестокостью» Ренан имел в виду погромы гугенотов в Варфоломеевскую ночь, но культурное или символическое насилие, связанное с созданием единства, также может быть жестоким. Искоренение некогда квазиавтономных культур или сведение их к простым региональным диалектам или местным обычаям постоянно повторяется в подчинении некогда бывших жизненно важными (и, возможно, все еще важных) различий при конструировании национальных историй. Людей, говоривших на различных языках и умиравших во имя независимости, теперь «вспоминают» как французов.

По иронии судьбы, составление линейных исторических повествований, посвященных развитию нации, и утверждение примордиальной национальной идентичности часто идут рука об руку. И написание национальных исторических повествований настолько тесно связано с дискурсом национализма, что оно почти всегда риторически зависит от предположения некоей ранее существовавшей национальной идентичности, которая дала начало истории. Андерсон кратко излагает одну из английских версий:

Учебники английской истории предлагают вниманию сбивающее с толку зрелище великого Отца-основателя, которого каждого школьника учат называть Вильгельмом Завоевателем. Тому же ребенку не сообщают, что Вильгельм не говорил по-английски и, по правде говоря, вообще не мог на нем говорить, поскольку английского языка в то время еще не было; не говорят ребенку и о том, «завоевателем» чего он был. Ибо единственным мыслимым современным ответом было бы: «завоевателем англичан», — что превратило бы старого норманнского хищника во всего лишь более удачливого предшественника Наполеона и Гитлера.

(Андерсон 2001: 218)

Обращение к истории и примордиальной этничности — это ответ на проблемы современных притязаний на статус нации. Индийские националисты в 1930–1940-х годах, например, сталкивались не только с важной проблемой британского колониального правления, которое силовыми средствами отвергало индийские притязания на статус нации. Они также сталкивались с трудностями при выделении единой нации из явного множества групп (в том числе политических образований) на субконтиненте. Тем не менее этого от них требовал дискурс национализма. Как мы видели, «Открытие Индии» Неру представляет собой парадигматический случай использования исторического повествования для ответа на такие вызовы. Неру стремился показать, что Индия была единой страной вопреки утверждению британцев о том, что иноземное правление позволяет избежать розни и вражды между многими соперничающими народами. Тем не менее почти тогда же другие индийские националисты ответили на те же вызовы описаниями, придававшими большее значение этничности. Они стремились показать, что единая страна — Индия — была по своей сути индуистской, а не мусульманской и была создана «своими силами», независимо от предшествующих имперских вторжений. Индуистский националистический соперник Ганди — Саваркар под влиянием националистического дискурса утверждал, что «на самом деле индусы отличаются от других народов мира намного больше, чем друг от друга. Все признаки — общая страна, раса, религия и язык, которые дают народам право образовывать нацию, позволяют индуистам с полным правом выступать с такими притязаниями» (*Savarkar* 1937: 284). Со временем команда Неру взяла верх, по крайней мере среди сторонников модернизации и представителей государственной власти. Но о том,

что идентичность нации спорна по своей сути и не задана историей, хотя и древней, свидетельствуют недавние успехи индуистских националистов (*Jurgensmeyer* 1993; *van der Veer* 1994; *Raychaudhuri* 1995).

## ЭТНИЧНОСТЬ КАК ИСТОРИЯ

Наиболее выдающиеся исследователи национализма оспаривали объяснения, придававшие особое значение ранее существовавшей этничности<sup>37</sup>. Кон (*Kohn* 1968) и Сетон-Уотсон (*Seton-Watson* 1977) подчеркивали решающую роль современной

<sup>37</sup> Более широкое распространение, чем попытка объяснения национализма при помощи этничности, получил функционалистский тезис о сходстве национализма с более ранним и более глубоко этнически структурированным *Gemeinschaft*, обеспечивающим сохранение традиционных сообществ и систем значения (*Гурц* 2004; *Gellner* 1964; *Hayes* 1966—в этой работе проводится параллель между национализмом и религией). Такие объяснения, как показывает приведенный ниже отрывок из работы Хааса, во многом восходят к дюркгеймовскому (*Дюркгейм* 1991) описанию перехода от механической к органической солидарности. «Нация—это синтетическое *Gemeinschaft*. В массовых условиях современности она приносит замещающее удовлетворение потребностей, которое прежде доставляли традиционные теплые социальные отношения лицом-к-лицу. По мере преобразования социальной жизни в результате индустриализации и социальной мобилизации в нечто, напоминающее основанное на расчете интересов *Gesellschaft*, нация и национализм продолжают служить скрепами, которые создают видимость общности» (*Haas* 1964: 465).

В незавершенных работах Мосса (*Mauss* 1985) о национализме,

политики, особенно идеи суверенитета. Хайес (*Hayes* 1966) считал национализм своеобразной религией. Кедури (*Kedourie* 1994) разоблачал национализм, показывая несостоятельность притязаний немецких романтиков. Позднее Геллнер (*Геллнер* 1991) обратил внимание на множество примеров неудачных или отсутствующих национализмов: этнические группы, которые почти не выказывали стремления или не пытались во все стать нациями в современном смысле слова. Так что, несмотря на всю важность этничности, она не может служить достаточным объяснением (хотя можно представить, что немецкий романтик в XIX веке просто сослался бы на существование сильных или исторических наций и слабых, которым суждено сойти с исторической сцены). Хобсбаум (*Хобсбаум* 1998) считал национализм преимущественно политическим движением второго порядка, основанным на ложном сознании, возникновению которого этничность может способствовать, но объяснить которое она не способна, так как оно сильнее связано с политической экономией, чем с культурой. Комарофф (*Comaroff* 1991) вообще поставил под сомнение предположение об этничности как о самостоятельном явлении, не говоря уже об использовании ее для объяснения национализма. Все эти мыслители так или иначе пытались развенчать притязания на давние этнические идентичности, обычно выдвигаемые националистическими идеологами. Они также пытались оспорить идею о том, что национализм можно *объяснить* ранее существовавшей этничностью. В большинстве своем они стремились ввести альтернативную главную переменную: индустриализацию, модернизацию, формирование государства, политические интересы элит и т. д.

написанных во многом в том же ключе, признается еще большая важность категории «нация» для современной культуры.



На этом фоне Энтони Смит (*Smith* 1983, 1986, 1991) попытался показать, что национализм имеет более глубокие корни в досовременной этничности, чем обычно полагали другие (см. также: *Armstrong* 1982; *Connor* 1994). Он признает, что нации нельзя считать примордиальными или естественными, но тем не менее утверждает, что они укоренены в относительно давних историях и прочном этническом сознании. Смит соглашается с тем, что национализм как идеология и движение датируется только концом XVIII века, но утверждает, что «этнические истоки наций» намного глубже. Он сосредотачивает внимание на *ethnie*— этнических сообществах со своими мифами и символами— и показывает, что они существуют в современную и существовали в досовременную эпоху, обнаруживая заметную преемственность в истории.

[Поскольку] этничность во многом носит «мифический» и «символический» характер и поскольку «носителями» мифов, символов, воспоминаний и ценностей служат формы и виды артефактов и действий, меняющихся крайне медленно, однажды сформированная *ethnie* обычно выказывает заметную стойкость перед «обычными» превратностями судьбы и сохраняется на протяжении многих поколений и даже столетий, образуя «почву», на которой позднее могут разворачиваться самых разные социальные и культурные процессы и на которую могут влиять самые разные силы и обстоятельства.

(*Smith* 1986: 16)

Это, утверждает он, служит основой отдельных наций и идеи нации.

О чем-то подобном говорили романтические мыслители в начале XIX века. В частности, в Германии считалось, что язык обеспечивал связь с «естественными» истоками куль-

туры<sup>38</sup>. Подчеркивая «самобытность» немецкого языка и «подлинную изначальность» немецкого характера, Фихте (*Fichte* 1968), например, утверждал, что немецкая национальность в своих истоках восходит ко временам до появления обычной истории, хотя она и дожидалась исторического действия (создания государства) для раскрытия своего потенциала<sup>39</sup>.

<sup>38</sup> Хотя Гердер (*Herder* 1966) и не был политическим националистом, он обосновывал именно такой подход к языку; Фихте же соединил его с политическим национализмом. Возможно, неслучайно и исторические подходы к языку, и герменевтические подходы к тексту во многом обязаны немецким ученым, а «структурные» объяснения языка и рассмотрение текстов в отрыве от обстоятельств их возникновения особенно популярны во Франции. Успех соссюрковского структурализма во французской мысли во многом был обусловлен противостоянием немецкому историцизму, и этот аспект зачастую остается без внимания в теоретической истории. Это согласуется с тем фактом, что французская одержимость чистотой языка, столь заметная сегодня, имеет сравнительно недавнее происхождение, и она связана в основном с ответом конца XIX века на колониализм, сопротивление языковых групп во Франции и интернационализацию культуры. Официальный орган, проводящий в жизнь идеи чистоты языка, — Французская академия руководствуется не этимологическими или историческими принципами, а критериями внутренней сообразности или изящества: это своего рода неявный структурализм. (Она также принимает иностранцев на основе оценки качества их французского. Трудно представить нечто подобное в Германии, принимая во внимание этноисторическое конструирование немецкого языкового сознания).

<sup>39</sup> См. также: *Meinecke* (1970: 92). Эта двухэтапная модель похожа на конноровское различие (*Connor* 1994: 103) между этническими группами как «потенциальными нациями» и реальными нация-

В сравнении с немецкими романтиками Смит преуменьшает роль языка и утверждает, что важнейшими чертами *ethnie* являются «народная культура», мифы, исторические воспоминания, заявления и определения идентичности, связь с территорией и чувство солидарности. В досовременных *ethnie* обычно отсутствует экономическое единство и четкое понимание законных прав. Они по-разному выстраивают отношения с государствами. Смит утверждает, что истоки современного национализма лежат в успешной бюрократизации аристократических *ethnie*, которые смогли превратиться в подлинные нации только на Западе. На Западе территориальная централизация и консолидация шли рука об руку с ростом культурной стандартизации. «Неделимость государства привела к культурному единообразию и однородности его граждан» (Smith 1986: 134). «Не будет преувеличением сказать, что отличие нации от *ethnie* в определенном смысле заключается в “западных” чертах и качествах. Территориальность, права гражданства, свод законов и даже политическая культура—это черты, свойственные прежде всего западному обществу. То же касается и осуществления социальной мобильности при единообразном разделении труда» (Smith 1986: 157). Также важны межклассовое включение и мобилизация во имя общих политических целей (Smith 1986: 166).

Нации, утверждает Смит, это долгосрочные процессы, постоянно возобновляемые и реконструируемые; для своего выживания они нуждаются в этнических ядрах, родинах, героях и золотых веках. Небольшие раскольнические нации, придерживающиеся партикуляристских квазирелигиозных представлений, являются сегодня наиболее распространен-

ми: «Хотя этническая группа *может* определяться извне, нация *должна* самоопределяться».

ными новыми националистическими проектами (*Smith* 1986: 212–213). Тем не менее эта тенденция к созданию множества небольших новых наций сдерживается, по утверждению Смита, писавшего до событий 1989–1992 годов в Восточной Европе, Советском Союзе и Африке, существующей системой национальных государств (*Smith* 1986: 218, 221). Короче говоря, «современные нации и национализм только продолжали и углубляли значение и возможности старых этнических представлений и структур. Национализм, конечно, сделал такие структуры и идеалы всеобщими, но современные “гражданские” нации на самом деле по-настоящему не преодолели этничности или этнических чувств» (*Smith* 1986: 216).

Смит, конечно, прав (если бы не слово «только» в предыдущей цитате), хотя объяснить национализм на основе одной только этничности можно не больше, чем на основе формирования государства или какой-то другой *одной* предполагаемой причины. Объяснение Смита более полезно в качестве критики идеологии «чистой политической идентичности». Но прежде всего нам необходимо рассмотреть вопрос о том, насколько сам дискурс национализма предполагает дискурс этничности. Нации невозможно объяснить их «объективными» истоками в *ethnie*, но определенное обращение к предположительно ранее существовавшему народу, по-видимому, должно так или иначе входить в подавляющее большинство притязаний на национальную идентичность. Америка представляет собой исключение лишь отчасти со своими идеями «плавильного котла», дополняемыми созданием этнической идентичности WASP (белого англо-саксонского протестанта) как — по крайней мере на протяжении долгого времени — культурно доминирующей в изображении нации.

После обретения независимости некоторые эритрейские националисты обратились за легитимностью к ис-

торическим утверждениям о давней самобытности своей страны, хотя действительная Эритрея сегодня далека от этнического единства или культурного отличия от своих соседей. Для «показательных культурных выступлений» традиционные танцы кунама, одного из «народов» Эритреи, стали своеобразным олицетворением всей нации — отчасти из-за своего драматизма и зрелищности, а отчасти из-за того, что культура кунама полностью принадлежит Эритрее, хотя кунама составляют всего лишь около 1 % эритрейцев. Культура народа тигринья, проживающего в гористой местности, напротив, не слишком отличается от культуры большей части Эфиопии, за исключением устного языка, а культура в низине имеет одинаковые корни со многими исламскими обществами вокруг Красного моря. И точно так же, как революция, а не этничность первоначально определила Америку, так и (вопреки заявлениям националистического дискурса) эритрейская нация во многом была создана в борьбе против Эфиопии, а не просто служила основой для этой борьбы. Создание нации продолжается при помощи государственных образовательных и культурных программ и программ трудовой и воинской повинности. Но ссылки на нацию как трансцендентную сущность также важны и не в последнюю очередь потому, что такая идея помогает сделать осмысленными жертвы тех, кто погиб в борьбе за независимость<sup>40</sup>.

<sup>40</sup> Независимость — не просто формальная, но и проявляемая в самостоятельном действии и защите от пагубных внешних влияний — представляет собой важнейшее благо, которое может быть наделено трансцендентным статусом для объяснения бедствий и личных утрат во время войны. Никакая сумма индивидуальных интересов не позволит рассчитать, какая жертва была решаю-

Таким образом, риторические заявления насчет издавна существующей национальной идентичности всегда вступают в противоречие с признанием исторических процессов национального строительства. Обычно, но не всегда националистические лидеры исходят в своих заявлениях из примордиальности нации. Даже там, где такие утверждения влиятельны, значение этничности, как и нации и других притязаний на категориальные идентичности, определяется посредством социального действия, и это действие всегда в значительной мере является политическим, даже там, где речь не идет о непосредственном достижении государственной власти.

Эта концепция выходит за рамки любого простого представления о примордиальном наследии и является продуктом Просвещения и особенно Великой французской революции. Как выразился Стейнер:

Как ни одно историческое явление до нее, Великая французская революция мобилизовала саму историчность, считая при этом себя всемирно-исторической, преобразующей устройство всего человеческого общества, захватывающей каждую отдельную личность.

(Steiner, 1988:150)

Эта новая идея исторического действия сыграла важную роль в национализме, во многих же случаях — вместе с особым представлением о национальной судьбе, новой телеологии истории. Такие концепции не ограничиваются, как при-

щей (ни одна мать не установит личную цену в качестве адекватной компенсации за потерянных сыновей или дочерей). Об экономической выгоде, например, речь заходит намного реже, и, в случае с Эритреей, увидеть ее намного труднее.

нято утверждать, немецким «этническим» национализмом. Вспомним *mission civilisatrice* Франции, «Новый Иерусалим» Англии и идеи «божественного предопределения» и «града на холме» в истории Соединенных Штатов.

## История, этничность и манипуляция

Этнические истоки — доминирующая тема в националистической риторике. В то же самое время националистический дискурс бывает сосредоточен на великих основополагающих деяниях или революциях. Акцент обычно делается на исторической новизне нации, рожденной самоучредительным действием ее народа. Иногда происходит тематизация искупления проблематичной истории, обновления перед лицом упадка или соответствия героическому прошлому. Хотя в Соединенных Штатах наблюдался перекося в сторону основания, а во Франции — в сторону революции, в каждой из этих стран случалось, что на передний план выходили другие аспекты. Рейганизм в Соединенных Штатах и голлизм во Франции отстаивали национализм, больше связанный с заявлениями о прошлом. Во многих странах Центральной и Восточной Европы явно преобладала риторика прошлого, хотя и здесь, как будет показано в следующей главе, не обходилось без полутонов.

Во всяком случае, глобальная риторика национализма придает большее значение заявлениям о национальном (или по крайней мере протонациональном) прошлом, и первым действием многих наблюдателей, некритически усвоивших националистические послышки, становится объяснение всего современного национализма с точки зрения его давних корней. Это, к сожалению, ведет к недооценке не только той

роли, которую национализм сыграл в борьбе за основание новых — и иногда демократических — режимов, но и степени, в которой национализмом манипулируют элиты, ищущие идеологию для легитимации своей власти и мобилизации потенциальных сторонников. Эти проблематичные отношения между историей и манипуляцией больше всего заметны в недавней печальной истории Боснии и Герцеговины.

Когда в бывшей Югославии разразилась война, западные наблюдатели (с содроганием) вспоминали, что Первая мировая война началась с убийства эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево — городе, ставшем сегодня символом этнонационалистической вражды. Но рассмотрим подробнее, что же произошло, и признаем двусмысленность отношений между этничностью и национализмом и между ними и насильственным конфликтом. Убийца был не местным, а сербом, членом тайного общества, прибывшим в Боснию с этой целью. Хотя сербский и хорватский национализм серьезно конфликтовали на протяжении нескольких десятилетий, предшествовавших убийству, Босния и Герцеговина были сравнительно мирным анклавом мультикультурного взаимодействия. Они лишь недавно вошли в состав Австро-Венгрии после нескольких веков пребывания под властью Османской империи. Хотя ею правили анатолийские мусульмане, занимавшиеся в основном сбором податей и военными делами, эта империя была в значительной степени мультикультурной и терпимой к этническим и религиозным различиям. Когда христианские правители Испании Фердинанд и Изабелла в 1492 году изгнали из своей страны всех евреев, они бежали прежде всего в Османскую империю. Многие из них поселились в Боснии, где они жили в мире со своими соседями — мусульманами, католиками и православными в течение пяти веков. По иронии судьбы, еврейская община стала



одной из первых жертв борьбы 1990-х годов. Наблюдая раз-  
вернувшуюся борьбу, как тогда казалось, между христиа-  
нами и мусульманами, ее лидеры в конечном итоге предпо-  
чили в 1992 году организовать эвакуацию людей и вывезти  
большую часть сохранившихся символов иудаизма.

На протяжении пяти веков, вплоть до 1990-х годов, Са-  
раево не сталкивалось с настолько серьезной борьбой, ко-  
торая способна была бы разрушить здание. Она не началась  
даже после того, как молодой сербский националист убил  
эрцгерцога Франца Фердинанда. Старый мост—знаменитый  
мост в Мостаре, городе, уничтоженном в начале 1990-х,—был  
построен в 1566 году великим османским лидером Сулейма-  
ном Великолепным, пользовавшимся услугами великого ви-  
зиря, который был выходцем из боснийских славян. Мост  
(до его разрушения хорватскими снарядами в 1993 году) свя-  
зывал различные этнические кварталы города, где церкви со-  
седествовали с мечетями. Члены различных этнорелигиозных  
групп не смешивались друг с другом, но, сохраняя свою само-  
бытность, жили в мире. И они соперничали на ежегодных  
соревнованиях по прыжкам в воду, в ходе которых молодые  
мусульмане, хорваты и сербы ныряли с прекрасного моста Су-  
леймана в Дрину: это был ритуал этнической обособленно-  
сти и совместного участия, далекий от этнических чисток.

До своего вхождения в XV веке в Османскую империю  
Босния была спорной территорией на границе между хри-  
стианской Европой и растущим влиянием ислама и осман-  
ского правления. Сербь, например, очень эмоционально  
заявляют о своем происхождении от солдат царя Лазаря,  
участвовавших в Косовской битве в 1389 году. Эти предки  
предпочли погибнуть в неравном бою, чем сдаться осма-  
нам, и памятью о них оправдывались нападения на бос-  
нийских мусульман шесть веков спустя. Конечно, было бы

неправильно считать, что такая традиция сохранилась благодаря простой памяти. Ее необходимо было активно прививать. В 1980-х и в начале 1990-х годов потребовалось разжечь огонь воспоминаний, чтобы сделать память о 1989 году эмоционально важной проблемой.

Речь идет не просто о пяти веках относительного мира: крайне ограниченная борьба 1990-х годов существенно отличалась от столкновений империй пятью-шестью веками ранее. И, конечно, ее обострению способствовали оборонительные маневры, предпринимавшиеся Австро-Венгерской империей. Империя перемещала целые сербские деревни на территории, где долгое время проживали только хорваты, чтобы использовать пресловутую свирепость сербов в бою в качестве переднего оборонительного рубежа на случай возможной османской агрессии<sup>41</sup>. Тем самым нарушалась чистота этнической территории.

Но идеология, которая возобладавала после распада Австро-Венгерской империи в предполагаемых национальных государствах, гласила, что национальные культуры исторически были и должны были снова стать гомогенными и связанными с компактными территориями. Иными словами, существовали сербская идентичность, обладавшая своей особой сущностью, и только одно место, где сербы могли жить по-сербски. Эта идея полностью противоречила действительной истории региона, где каждая местность и особенно каждый город были мультикультурными. Тем не менее такие представления способствовали появлению множества государств, которые, как считалось, представляли различные национальные группы, хотя ни одно из них не было од-

<sup>41</sup> Территория, на которой проживали такие сербы, получила название Сербская Краина.

народным в этническом, языковом или иных отношениях. Всякая национальность, которая должна была объединить граждан любого из этих государств, должна была быть создана, а не просто найдена. Но также верно, что, кроме временной паники и погромов, эссенциалистское представление о национальности — представление, что можно найти четкие и ясные признаки, разделяемые всеми членами нации и отсутствующие у всех нечленов, — никогда не имело определяющего значения в реальности, в принятии повседневных решений и в дискурсе озабоченных строительством государства и обеспечением легитимности элит. Именно поэтому показатели браков между членами предположительно разных национальных групп могли оставаться весьма высокими (от 30 до 40 % городских браков после Второй мировой войны [*Donia and Fine* 1994: 9]).

Иногда Югославия воспринималась не как работавшая федерация, хотя она неплохо работала, а как крышка, которой был накрыт бурлящий котел этнического недовольства. Снятие крышки, как считалось, просто привело к выходу наружу сил религиозной и националистической ненависти, кипевших целую вечность. Этот образ, к сожалению, оказал большое влияние на западные средства массовой информации и на многих ключевых внешних участников, вроде государственного секретаря США Уоррена Кристофера (*Cushman and Mestrovic* 1996). В своем первом выступлении о боснийской войне после вступления в должность Кристофер заявил, что все дело было в «давней этнической ненависти» и что Соединенные Штаты или Запад не в состоянии были ничего сделать, кроме как ослабить страдания через органы вроде Красного Креста, и ограничить распространение войны (или беженцев).

Но Кристофер заблуждался. Он заблуждался насчет фактов, не замечая долгую историю мира в Боснии (*Donia and*

*Fine* 1994; *Malcolm* 1996). Он не замечал роль циничных манипуляций, которые имели место наряду с искренним, хотя и крайним национализмом. Он заблуждался, полагая, что внешние силы не в состоянии ничего изменить, и это — когда борьбой уже манипулировали внешние силы, а Соединенные Штаты ввели дискриминационное эмбарго на поставки вооружений. Он заблуждался, считая Югославию менее «реальной» нацией из-за ее недавнего создания и попытки быть многоэтнической (*Denitch* 1994).

Хотя Югославия Тито была не так уж плоха, она подготовила почву для более позднего националистического конфликта, проведя границы таким образом, что различные республики федерации не совпадали с этническими территориями. Как и австро-венгры ранее, правители Югославии сделали так, чтобы часть сербов жила в Хорватии и наоборот, и сделали так на сей раз не в военных целях, а для ослабления стремления к отделению или проведению чисто этнической политики в рамках федерации (*Banas* 1984; *Denitch* 1994). Предпринятая после 1992 года попытка привести границы отделившихся государств в соответствие с этническими идентичностями стала причиной острейшей борьбы и огромных людских страданий. Тактика этнической чистки была отвратительна. Но цель не слишком отличалась от цели национализма во всем мире — стремления контролировать территорию, на которой люди обладали одной этничностью, говорили на одном языке, исповедовали одну религию.

Вопреки заявлению госсекретаря Кристофера о том, что источником конфликта была давняя этническая ненависть (утверждения, позволявшего оправдать бездействие), конфликт сочетал некую довольно старую историю с некими совершенно новыми чертами. Возьмем различие между сербами и хорватами. Преподносимое ныне в качестве давнего

этнонационального различия, еще в XIX веке оно касалось главным образом религиозного различия между людьми, которые говорили на одном языке и имели одно этническое происхождение. Сербь стали православными под влиянием России, а хорваты были католиками, имевшими более прочные связи с Западом. Только в XIX веке сербские и хорватские интеллектуалы предприняли первые попытки проведения различия между своими языками, создавая новые словари, новые стандарты правильного произношения и новые литературные стили. Они занимались этим во время международной волны национализма, которая также привела к возрождению, если не открытому переизобретению, каталонского, гаэльского и других сравнительно небольших языков, связанных с сепаратистскими политическими амбициями в других европейских странах<sup>42</sup>.

Они занимались этим в обстановке нарастающего кризиса Австро-Венгерской империи и масштабной перегруппировки геополитических сил, которые вывели на передний край не только систему единых национальных государств, но и современный глобальный капитализм. Такое сочетание подготовило почву для Первой мировой войны. С одной стороны, капитализм вел к росту межгосударственной торговли. С другой стороны, процесс накопления капитала — получения прибыли — был организован на национальной основе.

<sup>42</sup> Хотя некоторые националисты старательно взращивали национализм в своем сознании, у большинства людей националистические настроения неожиданно вспыхивали и также быстро затухали, вступая в противоречие с другими чувствами и интересами. Как заметил один из знатоков сербской ситуации в 1996 году, «национализм больше не в моде. Теперь его место заняла ностальгия по Югославии» (*Dobbs 1996*).

Европейские государства не только широко торговали друг с другом и во всем мире, они также отбирали многое у этого мира, осуществляя прямой контроль посредством колонизации. Тем не менее властные отношения в самой Европе были нестабильными. Во многих странах перед началом Первой мировой войны широкое распространение получили рабочая борьба, социалистическая агитация и растущая националистическая воинственность. На международной арене относительно стабильные и давно сложившиеся национальные государства Запада — особенно Британия и Франция — стремились сохранить стабильность и международное влияние перед лицом попыток представителей Центральной и Восточной Европы (включая русских) сформировать современные государства. Со стороны Российской империя выглядела куда более прочной, чем австрийская, и западноевропейцы обращались к Москве как к союзнику в борьбе против процессов распада, развернувшихся в центре Европы. Как заметил австрийский профсоюзный лидер, «Интернационал Востока во главе с Россией соединился с британским и французским Интернационалом Запада, чтобы отказать Среднеевропейскому, Среднеазиатскому Интернационалу в доступе к остальному миру и будущему участию в управлении этим миром» (*Renner* 1978: 124).

И основной международной проблемой, конечно же, была неясность в вопросе о том, где должны были пролегать границы этих развивающихся государств. Национализм быстро заменил собой династические притязания на легитимность. Но, как не раз наблюдалось на всем протяжении XX века, национальная идентичность была не столько готовым ответом на вопросы политической легитимности, сколько риторикой, используемой при обсуждении соперничающих ответов. Притязания на немецкую идентичность, напри-

мер, могли не выходить за пределы вновь расширившегося сегодня германского государства или быть настолько широкими, чтобы включать Австрию и часть Польши, не говоря уже о немцах, живущих в России и Соединенных Штатах.

В конечном итоге создание югославского государства было попыткой навязывания объединительной идеи южным славянам, которые и сами долгое время заигрывали с единством как способом обеспечения независимости от Австрии. Она была также привлекательной в смысле сохранения определенной независимости от влияния Советского Союза. Напомним, Югославия была наименее лояльной из стран Восточной Европы, входивших в сферу его влияния. Югославия имела также лучшие экономические показатели, чем большинство коммунистических стран, и была более либеральной в политическом отношении и более внимательной к правам рабочих. Но внутри нее важную роль играла не только экономика, но также этнические и религиозные различия. Словения и Хорватия были более развитыми в экономическом отношении и более интегрированными с капиталистическим Западом. Помимо туризма, они занимались продажей сельскохозяйственной и ремесленной продукции, а также мелкосерийных промышленных товаров в Италию, Австрию и Германию. Сербия, напротив, была наиболее советской по стилю республикой из всех, что составляли Югославию. Она придавала намного большее значение тяжелой промышленности и больше торговала с коммунистическим блоком. Соответственно, она намного больше пострадала от краха коммунизма, который лишил ее международных союзников и рынков, тогда как Словения и Хорватия получили большой доступ к глобальному капитализму. Проблема усугублялась еще и тем, что в течение долгого времени Словения и Хорватия платили

больше налогов, тем самым субсидируя остальную Югославию (не только Сербию, но и более бедные республики вроде Черногории). Так, армия состояла главным образом из сербских солдат, но непропорционально оплачивалась словенскими и хорватскими налогами. Это способствовало созданию ситуации, когда словенские и хорватские лидеры захотели порвать с Югославией, как только с крахом коммунизма появилась такая возможность, а Германия при поддержке остальных стран Запада заявила о своей готовности поддержать их притязания на независимость.

После смерти Тито в 1980 году Югославией, по сути, правил комитет, представлявший различные национальные республики, а силы, способной навязать единство, попросту не существовало. Западные корпорации и дипломаты стремились отхватить наиболее «привлекательные» куски и проявляли полное безразличие ко всему остальному. Со своими все более по-западному звучащими экономическими идеями лидеры в Словении и Хорватии встречали широкий отклик как у себя в стране, так и за рубежом, хотя они отстаивали также этнический национализм. Между тем, когда коммунизм начал давать сбои и утрачивать свою привлекательность — или даже признание — среди масс и когда Советский Союз стал покупать все меньше продукции, производимой Сербией, бывшие коммунистические политические лидеры, вроде Слободана Милошевича, чтобы сохранить свою легитимность и власть, обратились к сербскому национализму. В то же самое время проявления исламского фундаментализма за рубежом — и определенное возрождение исламской идентичности внутри страны — стали вызывать опасения насчет развития мусульманского национализма в Боснии.

После 1989 года словенцы и хорваты бросились в распростертые объятия Запада, Югославия распалась, и Мило-



шевич и другие смогли мобилизовать охваченных паникой и становящихся все беднее сербов своей идеей о том, что нынешние неурядицы были результатом западного заговора, своими призывами к национальной обороне и своим представлением о «Великой Сербии», включающей часть Хорватии и значительную часть или всю Боснию. Они полагали, что в сербских националистах в Боснии, вроде Радована Караджича, они нашли себе простых марионеток или союзников, но на самом деле они нашли в них еще более опасных и радикальных этнических националистов, еще меньше заботившихся об экономических вопросах<sup>43</sup>. Бедная Босния

<sup>43</sup> В конечном итоге, по иронии судьбы, Милошевич подвергся нападкам со стороны более жестких и менее прагматичных националистов, которые утверждали, что он сдал боснийских сербов, приняв при посредничестве США Дейтонское соглашение. В выступлениях протеста, начавшихся в конце 1996 года, требования демократии сочетались с резким национализмом. Привлекательную сторону этого недовольства Западом символизировала независимая радиостанция Б92, сначала запрещенная как база инакомыслящих, а затем возрожденная еще более сильной, чем прежде, и приобретшая свой веб-сайт. В то же самое время, возможно, наиболее заметным лидером выступлений протеста был рок-певец Бора Джорджевич, который обвинил президента в «предательстве сербов в Хорватии и Боснии». «Быть сербом сейчас значит для меня все», — сказал Джорджевич одному западному репортеру, а затем принялся разъяснять решающее значение религии для сербского национализма: «Я стал крайне религиозным. Я был бы ничем без религии. Я должен верить во что-то еще, во что-то лучшее». Тем не менее Джорджевич лишь недавно обратился к национализму, а в прошлом он был антикоммунистическим бунтарем, певшим, что «только дураки уми-

также провозгласила независимость, но — единственная из всех республик бывшей Югославии — она сохранила модель многоэтничной плюралистической демократии со свободой вероисповедания для каждого. Можно было подумать, что это должно было показаться знакомым американским лидерам и что они должны были поддержать новую страну, избравшую политическую систему, наиболее близкую к их собственной. Но на самом деле американцам и многим другим оказалось трудно представить самоопределение народа, который не определял себя в качестве моноэтнической нации. Западные державы не стремились признать Боснию и Герцеговину, как они признали Словению и Хорватию. К тому же у Запада не было серьезных экономических связей с Боснией или интересов в ней: у красивой страны, которая принимала Олимпийские игры и привлекала немало туристов, не было почти ничего для международной торговли. Когда в Боснии начались убийства представителей различных этнических групп, это было просто принято как свидетельство того, что она не была «реальной» нацией. Убийства — по крайней мере вначале — были проектом тех, кто притянул на большую часть Боснии, отстаивая разные националистические проекты. Но это не было свидетельством того, что у Боснии отсутствовали достаточные основания для того, чтобы притянуть на суверенное — многоэтническое —

рают за идеалы». Саша Миркович, директор радио B92, считал, что националистическая идеология помогла Джорджевичу сохранить популярность, подобно тому, как она помогла сохранить политическую власть Милошевичу. «Когда Югославия распалась, популярность рок-групп, вроде “Рыбного супа” [Джорджевича], стала падать, и чем больше она падала, тем большим сербским националистом становился Джорджевич» (*Hedges* 1997: 4).

КРЭЙГ КАЛХУН

государство. Это было свидетельством того, что национальная идентичность по своей сути спорна, точно так же как спорно по своей сути и точное определение нации. И ни националистическая «сущность», ни национальная история не служат прочным основанием для рассуждений о легитимности и суверенитете, даже если такова преобладающая риторика современной эпохи, используемая при обсуждении подобного рода притязаний.

## 4. ГОСУДАРСТВО, НАЦИЯ И ЛЕГИТИМНОСТЬ

Несовместимость «государственных» объяснений национализма и объяснений, которые подчеркивают важность более ранних этнических уз, зачастую преувеличена. Было бы ошибкой считать, что формирование государства или этничность могут служить «главной переменной», объясняющей возникновение и характер современного национализма в целом. Общие «этнические» культуры играют важную роль в наделении современных наций идентичностями и эмоциональной нагрузкой, но создание современных государств, а также войны и другая борьба между ними меняют значение этничности в жизни людей и помогают установить, каким из ранее существовавших культур удастся преуспеть в качестве наций, а каким не суждено будет создать политически значимые идентичности. Такие государства не только сформировали внутри себя национальные идентичности — они организовали мир межгосударственных отношений, в котором националистические устремления распространились среди безгосударственных народов.

### ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА

«Современность» государств, которые возникли в Европе особенно в эпоху абсолютистских монархий, проявлялась

прежде всего в их более широких административных возможностях, объединении территорий вокруг единых административных центров, замене старых форм «непрямого правления» (от откупа до простого делегирования власти феодальной знати) все более прямым контролем над вмешательством в несопоставимые территории и населения, опоре на народное политическое участие, способности мобилизовать граждан на войны и поддержании четких границ вместо размытых рубежей<sup>44</sup>. Основная задача проекта формирования государства заключалась в «умиротворении» жизни в границах государства, и осуществление государством своей монополии на насилие — или по крайней мере легитимное насилие — стало основным принципом политической теории. Тем самым был брошен вызов насилию квазиавтономных сил, вроде средневековых господ, а также бандитов, разбойников и других преступников. Но, хотя государства стремились устранить такие формы ранее существовавшего негосударственного насилия, они также создали новые формы и механизмы насилия. Они проводили все более эффективные мобилизации для внешних войн и при этом стремились не только к установлению внутреннего мира, но и к созданию однородного и покорного национального населения. Для этого они использовали — по крайней мере предположительно — легитимную силу полиции и других государственных органов. И государственные органы прибегали не только к физической силе, но и к символическому насилию. Они

<sup>44</sup> Наиболее обоснованные недавние объяснения связи национализма с формированием государства см.: Mann (1986, 1993); Breuilly (1993). См. также более ранние известные работы: Deutsch (1966, 1969); Kohn (1968). О формировании государства вообще см.: Poggi (1973); Anderson (1974); Tilly (1975); Giddens (1984); Tilly (1990).

дисциплинировали население внутри страны при помощи образовательных программ и помощи беднякам, религиозных классификаций и тестов на интеллект, криминального учета и проводимой государством этнической стигматизации. Появление сплоченных политических и культурных сообществ, которые принято называть нациями, было во многом связано с возникновением таких государств.

Межгосударственный конфликт сыграл важную роль в изменении формы и роли государств. Военная мобилизация с целью внешней войны способствовала росту внутренней интеграции, смешивая людей из различных областей, провинций и социокультурных сред и прививая национализм при помощи идеологической обработки и самих процессов мобилизации, сражений, демобилизации и возвращения к гражданской жизни (*Hintze 1975; Tilly 1990*). Большое значение имели не только европейские войны, но и конфликты из-за колоний, особенно в XVIII–XIX веках. В то же время нам не следует ограничиваться одним только межгосударственным измерением, забывая о «внутренних» процессах формирования государства, связанных с развитием войн. Одной из ключевых черт современной войны был рост расходов. Новые технологии и увеличение масштаба конфликтов требовали, чтобы государства отнимали у своих обществ все бóльшие — невиданные прежде — ресурсы (*Brewer 1989; Mann 1993: Ch. 11*). Дело было не только в силе, которая нужна была для того, чтобы заставить гражданское население расстаться с частью своего богатства, но и в поддержке гражданского общества, которое нельзя было контролировать полностью, так как оно служило источником нового богатства. Это также вело к росту административной интеграции и появлению новых возможностей. Сбор налогов, например, теперь осуществлялся не квазиавтономными феодальными

элитами или откупщиками, а национальным правительством и его бюрократией. Не менее важным, чем материальная сила, было знание того, в чем именно было заключено богатство.

Поэтому речь следует вести не просто об отождествлении государства с нацией, но и о структурных изменениях, связанных с возникновением современного государства. Последние позволили представить нацию в виде единого целого. Более ранние политические формы не проводили четких границ и не заботились о внутренней интеграции и гомогенизации (*Giddens 1984; Mann 1986*). Города доминировали над прилегающими областями; иногда особенно сильные города доминировали над сетями других городов с прилегающими к ним областями. Различные военные (и иногда религиозные) элиты, которые мы называем феодальными, правили значительными территориями, но с минимальной централизацией власти и ограниченной способностью оказывать влияние на повседневную жизнь. Хотя империи могли требовать от покоренных народов уплаты дани и иногда способствовать росту взаимодействия между различными подданными, они не требовали культурной гомогенизации.

Современные государства, напротив, занимались охраной границ, введением паспортов и сбором таможенных пошлин. Внутри страны они были озабочены административной интеграцией областей и местностей, которые ранее обладали относительной независимостью. Они не только собирали налоги, но и строили дороги, создавали школы и системы массовых коммуникаций. В конечном итоге государственная власть могла осуществляться в самых отдаленных уголках страны точно так же, как и в столице. Стремление и способность государств управлять отдаленными территориями были обусловлены совершенствованием транспорт-

ной и коммуникационной инфраструктуры, с одной стороны, и бюрократии и соответствующего использования информации — с другой. Это было связано с общим ростом масштабных социальных отношений. Социальная жизнь все больше зависела от опосредованных форм — рынков, коммуникационных технологий, бюрократии, которые отдаляли социальные отношения от области прямого взаимодействия лицом-к-лицу (*Deutsch 1966; Calhoun 1992*).

Экономическое развитие шло рука об руку с формированием государства и расширением этой инфраструктурной интеграции рассеянного населения<sup>45</sup>. Торговля на большие расстояния и региональная дифференциация производства были не менее важными факторами, чем работа правительства в области строительства дорог. Трудовая миграция, связанная с совершенствованием сельскохозяйственного производства, хотя и сравнительно локальная, вела не только к появлению рабочих, необходимых для развития промышленности, но и к размыванию сложившихся политических форм и институтов общества, обеспечивавших поддержание социального порядка. Это, в свою очередь, создавало возможности для более широкого государственного вмешательства в повседневную жизнь людей по всей стране. И, конечно, интеграция экономики на национальном уровне не только связывала вместе рассеянных индивидов и сообщества, но и способствовала установлению единицы идентичности. Но сама по себе экономика как предположительно

<sup>45</sup> Геллнеровские (*Геллнер 1991*) рассуждения о том, что индустриализация вызвала национализм, более ограничены, но все же согласуются с изложенной логикой. В классическом описании у *Поланьи (Поланьи 2002)* подчеркивается роль рынков вообще, а не только промышленности. См. также: *Балибар и Валлерстайн (2004)*.



саморегулирующаяся система обмена не образовывала внутреннего единства торговли внутри страны в противопоставление внешней торговле. И хотя такое различие внутреннего и внешнего во многом зависело от государств, одновременно с организацией рыночных товарных отношений и накопления капитала на национальном уровне происходило установление и международных экономических связей. Международные потоки товаров и капитала могли заметно увеличиться с глобализацией конца XX века, но в целом в них нет ничего нового. Поэтому неверно считать национальные экономики первичными; экономики не являются национальными сами по себе, а определяются в качестве таковых государственными границами и политикой, географией и физической инфраструктурой.

#### Новая форма политического сообщества

Изменение и растущая важность идеи нации не были простым следствием формирования государства, и, конечно, они не были чем-то, что создавалось правителями под себя. Напротив, возникновение национализма отчасти было обусловлено вызовом власти и легитимности этих правителей со стороны народа. Важное место в развитии национализма занимало представление (и в конечном итоге оно стало само собой разумеющимся и превратилось в глубокое убеждение) о том, что политическая власть может быть легитимной только тогда, когда она отражает волю или по крайней мере отвечает интересам народа, который подчиняется ей. Поэтому национализм возник в эпоху после XIV века, когда народные восстания и политическая теория стали все больше опираться на идею, согласно которой «народ» составляет еди-

ную силу, способную не только восставать *en masse* против нелегитимного государства, но и наделять легитимностью государство, которое подходит народу и служит его интересам. В этом случае границы государства должны были соответствовать границам нации (важный аспект перехода к компактным и сопредельным территориям), а само оно должно было блюсти интересы своих граждан, понимаемых не только как множество индивидов, но и как единая нация или конфедерация таких наций. Кроме того, народ и правители должны иметь одно этнонациональное происхождение (хотя англичане в 1688 году сделали королем голландца, а норвежские националисты в 1905 году возвели на престол датчанина). Вообще, как пишет Эрнест Геллнер, национализм заявляет, что нации и государства «предназначены друг для друга; что одно без другого неполно; что их несоответствие оборачивается трагедией» (Геллнер 1991: 34).

На протяжении большей части европейской истории споры о легитимном правлении касались вопросов божественного или естественного права, вопросов наследования, во многом связанного с происхождением, и споров об ограничениях, которые должны были быть наложены на монархов. Тогда вопрос о национальной идентичности либо вообще не вставал, либо имел второстепенное значение. Идентичность правителей была важна, и могли возникать вопросы о правлении данного монарха «народом» или различными «народами», например, после раскола королевской династии Габсбургов. Именование таких народов «нациями» первоначально не имело большого политического значения. Это слово просто отсылало к общему происхождению и использовалось, например, для выделения групп на средневековых церковных собраниях и в университетах: выделить студентов из различных частей Швеции в Упсальском уни-

верситете было так же просто, как и студентов, говоривших на разных народных языках в Парижском университете<sup>46</sup>. Средневековая католическая церковь признавала культурную самобытность своих различных «наций» независимо от политических разногласий между христианскими монархами<sup>47</sup>. Но положение изменилось, когда вопрос о суверенитете стал предполагать обращение к правам, признанию или воле «народа». Нации стали считаться историческими «существами», обладающими правами, волей и способно-

<sup>46</sup> Слово «нация» не имело тогда никакого отношения к тому, что понимается сегодня под национальными идентичностями (*Kedourie* 1994: 5–7). В средневековом Парижском университете существовало четыре «нации»: Франция (включавшая всех говоривших на романских языках), Пикардия (преимущественно голландцы и фламандцы), Нормандия (главным образом скандинавы) и Германия (которая включала как англичан, так и немцев).

<sup>47</sup> В знаменитом «Открытом письме к христианскому дворянству немецкой нации» Мартин Лютер использует слово «нация» в основном в его средневековом смысле, описывая элиты, которые могли посещать церковные соборы, но такие документы в лютеранской Реформации предвосхитили более современное употребление этого слова. Это объясняется тем, что они обращались ко всему лингвистически и культурно определяемому народу и получали широкое распространение вследствие роста народной грамотности, которому в значительной степени способствовали лютеранская библия, напечатанная Иоганном Гуттенбергом, и циркуляция документов вроде «Открытого письма...» Лютера. В своих ключевых националистических «Речах» 1807–1808 годов Фихте (*Fichte* 1968) вспоминает о Лютере, но употребляет слово «нация» явно в современном смысле.

стью принимать или отвергать конкретное правительство или даже форму правления.

Идея «восхождения» легитимности от народа имела более ранние истоки, связанные в том числе с Древней Грецией и Римом, а также с некоторыми «племенными» традициями предков современных европейцев, но она получила гораздо более широкое распространение в эпоху раннего Нового времени<sup>48</sup>. Она также сформировалась под большим влиянием республиканской мысли<sup>49</sup>. Республиканизм бросил вызов произвольным правам королей от имени об-

<sup>48</sup> «Нисходящие» теории предполагали легитимацию суверенитета по божественному праву. «Восходящие» теории, напротив, предвосхитили рождение более современной идеи нации или народа со своим представлением о том, что суверенитет даровался правителю народом. Утверждая, что это имело решающее значение для древней Германии, и обращаясь к Альтузиу, Гирке (*Gierke* 1934) объяснял этим выступления против абсолютистского правления и господства государства над обществом. Вообще, возникновение идей нации и общества во многом связано с римскими республиканскими правовыми идеями и дискурсом естественного права (*Ullman* 1977).

<sup>49</sup> Описание роли республиканских идей на начальном этапе политической трансформации Нового времени см.: *Роскок* (1975). О французском конструировании республиканской *patrie* см.: *Hunt* (1984); *Blum* (1986). Даже монархические государства Нового времени испытали на себе влияние республиканских идей. Конечно, республиканство не было чем-то совершенно новым, о чем свидетельствует пример Рима; Рим также напоминает нам о возможности перехода от республики к империи. Так бывало и в современную эпоху, например, когда СССР без лишнего шума стал вести себя как империя во внутренних (по отношению

щего блага. *Res publica* считались вещи, которые обязательно были публичными, общими по праву. В этой традиции Европа эпохи Нового времени считала себя наследницей древней римской республики, которая существовала до того, как императоры подчинили Рим своей деспотической воле. Республиканство обращалось прежде всего к идее публики и придавало решающее значение критическому публичному дискурсу среди членов политического сообщества. Тем не менее республиканцы не обязательно были демократами и зачастую ограничивали политическое сообщество аристократической или торговой элитой. Даже самозванные демократы зачастую сохраняли ограниченное представление о спектре людей, которые составляли соответствующее политическое сообщество — к примеру, мужчины-собственники. Но более узкая публика должна была представлять интересы более широкого народа. Это изначально узкое определение политического сообщества с течением времени и со стремлением различных фракций завоевать народную поддержку заметно расширилось. Националистическая риторика внесла свой вклад в этот процесс и стала его отражением.

Новое «восходящее» представление о политической легитимности сочеталось с ростом народного участия в политическом дискурсе и деятельности. Это нашло свое проявление и в повседневной жизни, когда все больше людей овладевало грамотой и узнавало об отдаленных событиях (а рост экономической интеграции делал отдаленные события более значимыми для них). Но наиболее драматическую форму оно приняло в революции. Гражданская война

к нерусским республикам) и внешних (по отношению к зависимым странам Варшавского договора) делах.

в Англии и Американская и Французская революции ознаменовали собой трансформацию современной политики. Способность «народа» или, скорее, большого числа людей, действующих от имени всего народа, свергать режимы была совершенно новой. Эти современные революции не только наделили народ властью — они изменили саму социальную организацию политической власти и характер социальной жизни в целом (*Skocpol* 1979).

Изменилось само понимание природы политического общества, а легитимность, в свою очередь, все больше стала зависеть от представлений о неполитической социальной организации. Независимо от того, какое выражение при этом использовалось — «нация» или «народ», обращение к некоему внешне ограниченному и внутренне сплоченному населению было важной составляющей современных представлений о народной воле и общественном мнении<sup>50</sup>. Иными словами, важно было, чтобы «народ» был или по крайней мере считался социально сплоченным, не рассыпанным на крупницы или разделенным на небольшие замкнутые сообщества и семьи. Политика стала по-новому зависеть от куль-

<sup>50</sup> Как показал Чаттерджи (*Chatterjee* 1994), это стало важной проблемой в представлениях европейцев о народах, подчиненных колониальному правлению. Британцы в Индии, например, последовательно отстаивали идею о том, что Индия была не единым обществом, а смешением гетерогенных и враждующих сообществ. Эта идея легитимировала английское господство, но она также дала индийским элитам, заинтересованным в противодействии британской гегемонии, стимул для того, чтобы предложить националистическое обоснование единства Индии, что, в свою очередь, стало одним из факторов, приведших к обострению индуистско-мусульманских противоречий.

туры и общества. Это поставило политическую теорию в зависимость от социальной теории; монарху нужно было знать само общество, которым он правил, а не только территорию или вассалов.

Раннее описание социальной интеграции, соответствующее идее нации, было предложено в рассуждениях о «гражданском обществе». Этот термин, частично опиравшийся на образ свободных средневековых городов, отсылал к способности политического сообщества организовывать себя независимо от определенной направленности государственной власти и к социально организованному преследованию частных целей<sup>51</sup>. Эта самоорганизация могла осуществляться через дискурс и принятие решений в публичной сфере или через системную организацию частных интересов в экономике. Шотландские моралисты — и прежде всего Адам Фергюсон и Адам Смит — придавали особое значение последнему в своих описаниях ранних капиталистических рынков как арены, на которой преследование частных целей индивидуальными участниками в конечном итоге вело к эффективной социальной организации, независимой от вмешательства государства. Рынок, таким образом, позволял проверить притязания на способность к самоорганизации, а также был областью, которая позволяла защитить особые интересы от грубых манипуляций. Согласно Фер-

<sup>51</sup> В наиболее заметном недавнем общем описании политической теории гражданского общества ощущается серьезное влияние Гегеля (*Коэн и Арато* 2003), не позволяющее осознать важность шотландского, английского и французского подходов и оценить, насколько велико в этом дискурсе было значение негосударственной социальной организации. И этот дискурс, конечно, сыграл важную роль в становлении социологии. См.: *Calhoun* (1993b).

гюсону и Смиту рынки показывали, что деятельность простых людей могла регулироваться самостоятельно, без вмешательства со стороны правительства. Такие притязания были связаны с неприятием абсолютной власти монархов и утверждением прав народного суверенитета. Вслед за Локком, особое внимание уделялось социальной интеграции общества, которое теперь уже не рассматривалось как простое скопление подданных. С этой точки зрения, государство больше не считалось политическим сообществом, поскольку его собственная легитимность зависела от согласия или поддержки со стороны уже существующего политического сообщества.

Эти новые представления о политическом сообществе возникли в тесной связи с религией вообще и протестантской Реформацией в частности. Это также оказало определяющее влияние на развитие идеи и практики революции в Европе Нового времени, а также на развитие национализма. С одной стороны, идеи непосредственного откровения и важности чтения и осмысления Священного писания для себя способствовали возникновению сознания независимости от иерархии (которое в равной степени касалось светских и религиозных дел). Отколовшиеся церкви часто развивали традиции конгрегационного «самоуправления», отстаивая право избрания священников, подобно тому как позднее демократы стали отстаивать право избрания правительств. Протестантский разрыв с традицией церкви также поощрял скептическое отношение к такого рода притязаниям, например, на божественное право королей. Кроме того, войны, связанные с протестантской Реформацией, способствовали сближению политической власти и культурных различий, которые развились в национальные идентичности — например, католической Франции в противо-



поставление протестантской Англии.<sup>52</sup> Эти войны привели к мобилизации народных чувств и участия. Реформационная мысль опиралась на религиозный словарь избранного народа для сакрализации народа как единого целого. Зачастую «народ» понимался в принудительно-конформистском смысле и состоял из тех, кто разделял особое религиозное откровение или понимание (в конце концов сожжение нон-конформистов на кострах не было такой уж редкостью). Это касалось католических стран, которые проводили контрреформацию, направленную против протестантов, выступавших за реформу. Например, Польша, зажата между православной Россией, с одной стороны, и протестантской Северной Германией — с другой, глубоко определялась своей католической религиозной идентичностью, считая себя избранным народом и нацией-мученицей (*Skurnowicz* 1981). В этом направлении современного европейского национализма было меньше заимствований от Древнего Рима

<sup>52</sup> Следует пояснить, что ни Франция, ни Англия, не говоря уже о Британии, не были однородными в религиозном отношении. Религиозное единство нации отчасти было идеологическим мошенничеством, как и все заявления о единой, целостной национальной идентичности. Но оно имело большое значение. Французских протестантов убивали и вынуждали покидать страну во имя национального единства, что привело к появлению среди прочего гугенотских общин в Северной Америке. Антипапские настроения играли важную роль в английской народной политике (особенно во времена войны с Францией) вплоть до XIX столетия. Антикатолицизм американского ку-клукс-клана был не только реакцией на иммигрантов из Южной Европы, но и отличительной особенностью англо-саксонской идентичности, передававшейся из поколения в поколение.

и больше от теократических общин во главе с ранними Отцами Церкви<sup>53</sup>. Поэтому нет ничего случайного в том, что пуританское влияние на гражданскую войну в Англии служит одним из первых по-настоящему современных примеров обращения к народу как к источнику легитимности государства. Это направление развития достигло своей наивысшей точки в Великой французской революции.

Незадолго до начала гражданской войны в Англии Томас Гоббс предложил новое утонченное оправдание абсолютной монархии, заявив, что она отвечала интересам народа, а не санкционировалась наследованием или божественным помазанием (Гоббс 2001). «Левиафан» был книгой о государстве, под которым Гоббс понимал не только *res publica* римского права, но и зарождавшееся торговое общество Англии XVII столетия (см.: MacPherson 1976). Никакое общество не сможет пользоваться общественными благами, утверждал Гоббс, без примиряющего правления монарха. Это преобразовывало несхожих и обособленных индивидов, которые изначально были обречены вести непрестанную войну между соперничающими частными интересами, в социально организованное тело — народ. И если монархия отвечала интересам народа, то последний не мог называться обществом в отсутствие монарха и, следовательно, выдвигать групповые притязания против монарха.

Рассуждения Гоббса меняли изнутри традицию рассмотрения политического сообщества, полностью определяе-

<sup>53</sup> И в этом смысле современные представления об отношениях народа и государства намного ближе к ранней истории иудаизма и ислама, чем к классической древности Греции или Рима, столь любимой политическими теоретиками раннего Нового времени.

мого подчинением общему правителю. Отказываясь от иерархии промежуточных властей (так, например, жители определенной области могли войти в другое политическое сообщество в результате завоевания или изменения вассальной зависимости), Гоббс обращался к каждому индивиду напрямую как к члену государства. Политическим сообществом, таким образом, становился весь народ, даже если он и не обладал большой властью. Это был важный шаг на пути к национализму. Во время гражданской войны практическая политика вывела на политическую сцену народ: прецедентом здесь стал Долгий парламент со своей активной культурой листовок и иных сообщений о своей работе — новая идея отчета о высокой политике перед простыми людьми (Zaret 1996). Не менее важна была и кромвелевская армия нового образца — первая «гражданская армия», которая мобилизовала множество разных людей для участия в общем политическом и военном предприятии.

Идеи Гоббса были почти сразу же оспорены другими мыслителями, что, несмотря на их преобладающий либерализм, ретроспективно кажется предвестием этнического национализма XIX столетия<sup>54</sup>. Они пытались показать приоритет политического сообщества перед отдельными властными структурами. Например, теоретические средства осмысления общественного договора были дополнены идеей

<sup>54</sup> Парадоксальным образом гоббсовский подход предвосхитил традицию гражданского национализма, обычно ассоциируемую с Великой французской революцией. Хотя теория Гоббса подерживала монархию, а не революцию, она утверждала, что всякий индивид, подчиняющийся институтам политического правления, может быть членом политического общества. Она была ассимиляционистской, а не этнической.

«двойного договора», в соответствии с которой первый договор объединял дополитических участников в политическое сообщество, а второй связывал такое сообщество (более условно) с правителем или сводом законов. Основная идея заключалась в превращении организованного в общество народа в источник политической инициативы и основу для вынесения оценок. В конечном итоге такие идеи часто сочетались с притязаниями на древнюю, даже примордиальную народность как составляющими множества националистических политических программ. Но тогда «народ» означал в основном политически активные элиты. Так, после гражданской войны Джон Локк (*Локк* 1988) опубликовал политическую теорию (написанную ранее), которая обращалась не только к интересам народа как собрания дискретных индивидов, играющих различную роль в политическом теле (образ Гоббса), но и к гражданам как телу, связанному между собой общением, — публике. Она оказала значительное влияние на формирование последующей демократической теории, но она также прекрасно вписалась в контекст той эпохи: монархическая реставрация (почему-то называемая англичанами революцией), которая сыграла решающую роль в возрождении открытой и расположенной к общению аристократии. Возможно, в среде этой аристократии и зародился английский национализм, опиравшийся на идею политического сообщества, независимого от монарха и способного бросить ему вызов<sup>55</sup>.

<sup>55</sup> Работа Кона (*Kohn* 1968) по сей день остается одним из лучших описаний этого аспекта зарождения английского национализма. См. также: *Greenfeld* (1992), хотя следует отметить, что эта работа оставляет без внимания степень, в которой аристократические сторонники нации, противостоявшей королю, были также про-

С появлением притязаний на народный суверенитет и республиканское правление произошло еще более сильное переплетение понятий нации и народа. Прежде всего притязания на статус нации обеспечивали культурную основу для определения потенциально суверенных политических сообществ. Иными словами, использование идеи нации должно было объяснить, какое объединение людей считалось народом, например *английским* народом. Чтобы идея правления в интересах «народа» работала, необходим был некий критерий для определения, кто принадлежит, а кто не принадлежит к народу. Только будучи нацией, обладающей особой национальной идентичностью, народ мог требовать права на самоопределение и правление в своих интересах. И всякий раз, когда нация не была суверенной, например, когда она была подчинена иностранному правлению, это требовало обоснования, в котором раньше не было никакой нужды. Раньше король или император могли править множеством различных в культурном отношении «народов» и заявлять о легитимности, основанной на наследовании и надлежащей преемственности, возможно, подкрепляемой идеей божественного права королей и обычно обосновываемой завоеванием и военной силой. Но по мере распространения идеи о том, что суверенитет коренится в народе и что права правителей зависят от служения интересам народа, чужеземное правление становилось все более сомнительным. В XVIII и особенно в XIX веке, например, многие англичане были возмущены тем фактом, что правящей династией была семья немецких принцев, и во время Первой мировой войны правящая династия изменила свое название на более английских «Виндзоров».

тивниками левеллеров, диггеров и других движений, отстаивавших более широкие демократические права англичан.

Важность этого изменения в образе мысли не была очевидной для политических теоретиков, даже тех, кто так или иначе способствовал этому. Локк, например, считал существование дискретных «народов» более или менее данным. Это стало причиной натяжек и искажений при попытке объяснения того, почему иногда сохранение завоеванных народов подчиненными чужеземному правлению (и даже их эксплуатация) может быть легитимным. Это помешало ему сделать следующий шаг и рассмотреть, какие различия между народами могли быть изменены в результате их интеграции в общее государство — даже тогда, когда она первоначально осуществлялась насильственными средствами. Но на самом деле это не было редкостью.

Классическим примером служит Франция. Французские короли боролись со множеством сильных региональных дворян и их сторонников, стремясь объединить французское государство. В 1850 году лишь меньшинство совершеннолетних французов говорило по-французски (Weber 1976). Тем не менее к XX веку Франция стала одной из самых культурно интегрированных европейских стран. Ключевую роль здесь сыграли образовательные реформы, проведенные в последней четверти XIX века. По новой образовательной программе, в школах преподавались общая история Франции и стандартная версия французского языка, призванная усилить сплоченность французской нации. Точно так же насильственная борьба против протестантов способствовала закреплению католицизма во Франции: это еще один важный аспект ее культурного единства. При этом совместное участие широких слоев населения Франции в революции и наполеоновских войнах, которые последовали за ней, не только отражало, но и усиливало ее конструирование в качестве единого «народа». Тому же способствовали

ежегодные празднества и другие коллективные представления, которые делали революционную традицию более консервативной и объединяющей, а не радикальной и конфликтной составляющей национальной культуры. Короче говоря, национальное строительство продолжилось после завоевания и способствовало *созданию* народа, который должен был служить основой все более демократического суверенного государства<sup>56</sup>.

Отчасти осознанию этой проблемы политическими теоретиками препятствовало влияние националистической мысли. Подобно Локку, большинство считало существова-

<sup>56</sup> Говоря об этом, нам не следует преувеличивать степень «ассимиляции» в европейских государствах. Бретонцы и корсиканцы, например, обнаруживают пределы культурной и политической интеграции во Франции. См.: *Noiriel* (1996). Коннор (*Connor* 1994: 183) справедливо упрекает Карла Дойча и других теоретиков, которые связывали национализм преимущественно с государственным строительством, не замечая сопротивления ассимиляции среди фламандцев, шотландцев, валлийцев и других национальных групп, подчиненных все еще мультикультурным европейским государствам, хотя и не признающим себя таковыми. Дойч считал все эти группы успешно ассимилированными и описывал не только Францию, но и Италию, Испанию и Швейцарию как государства, обладающие единым национальным сознанием. Возрождение «субгосударственного» этнического национализма, которому способствовало создание Европейского Сообщества, служит дополнительным свидетельством того, что ассимиляция не является полной, а культурное многообразие всегда может быть использовано теми, кто имеет в этом материальный или какой-то иной интерес. См.: *Schlesinger* (1992); *Delanty* (1995); *Guibernau* (1996).

ние народов — ограниченных и единых в культурном отношении политических сообществ — само собой разумеющимся при построении своих теорий. Они писали так, словно задача политической теории заключалась в простом формулировании процедур и механизмов для управления такими сообществами, не рассматривая их конституирования в качестве отдельных народов. Например, в «Энциклопедии» Дидро считал нацию просто «огромным количеством людей, которые населяют определенные земли, имеющие определенные границы, и подчиняются одному правительству»<sup>57</sup>. Споры о конституции в демократической теории — по крайней мере до недавнего времени — тяготели либо к воображению мира без сложившихся сообществ, либо к воображению того, что границы политического сообщества не представляют проблемы<sup>58</sup>. Но в реальном мире народы всегда конституировались и конституируются в качестве таковых по отношению к другим народам и из не слишком податливого материала ранее существовавших сообществ и конфликтующих притязаний на лояльность и народность. Иными словами, они были частью сложного дискурса национализма. Демократическая теория могла пренебрегать этим только потому, что она молчаливо признавала то, о чем открыто заявляли определенные идеологи национализма (вроде Фихте): что каждый человек является членом нации и что

<sup>57</sup> *Encyclopédie* (Paris, 1751–1765). Vol. 11. P. 36.

<sup>58</sup> В этом отношении важным исключением является Майкл Уолцер (Walzer 1983, 1992). Признавая существование этого недостатка (хотя и не в случае демократической теории *per se*, а в случае с его теорией справедливости), Джон Ролз (Rawls 1993) поднял вопрос о том, что могут означать «права» у различных наций или каким может быть легитимный «закон народов».



такие нации являются релевантными политическими сообществами. Но на деле часто не существует очевидного или бесспорного ответа на вопрос о том, каково релевантное политическое сообщество. Таким образом, национализм — это не решение загадки, а дискурс, в рамках которого чаще всего ведется борьба за ответ на этот вопрос, нередко при помощи пуль и бомб, но также и слов.

Короче говоря, важную роль в национализме играет утверждение о том, что народ страны образует социально сплоченное тело, значимое целое. Это предполагается, например, в известном представлении Руссо об общей воле. Народ, нация должны обладать одной идентичностью и — по крайней мере в идеале — одним голосом. Нация, таким образом, это не просто статическая категория, но плод общей приверженности целому и принципам, которые оно воплощает. И именно как целое нация отличается от других стран, и как целое члены нации обладают потенциальным правом на самоопределение и государство — такое же уникальное, как они сами. Но это палка о двух концах, ибо сильное национальное устройство «народа» не только заставляет казаться нелегитимным чужеземное правление, но и позволяет народу утверждать, что его правительство является нелегитимным даже тогда, когда в нем нет ничего чужеземного. Как заметил Эмиль Дюркгейм (*Durkheim* 1950: 179–180), распространению категории нации и феномена национализма способствует не сила национального государства, а разрыв между народом и государством.

Гражданская война в Англии была первым крупным европейским движением, в котором проявилось это измерение национализма. Даже оставляя в стороне сильное народное недовольство «норманнским игом», эта борьба была тесно связана с противостоянием «народа» и «государства». Кром-

вель и Долгий парламент преподносили себя в качестве воплощения народа, даже если при этом они занимались созданием государства; и оппозиция короне была оппозицией королевскому государству в целом, а не только личности короля. Решающее значение имела, возможно, не высокая политика, а создание первой народной армии в европейской истории Нового времени. Гражданская война была своеобразным спором о легитимности, серьезно отличавшимся от прежних склок по поводу династического наследования и даже чужеземного правления.

Французская революция стала апофеозом этой идеи<sup>59</sup>. Суверенитет стал проблемой не просто государственного аппарата и борьбы за власть, но и представительства народа в коллективном действии. Штурм Бастилии, например, хотя и был осуществлен небольшой горсткой людей, служил символом идеи народа как действующей силы — важная черта современного понятия легитимности. В народном коллективном действии, создании и воссоздании Национального собрания и риторике, которой они сопровождались, идея народа как действующей силы на исторической арене, предвосхищенная гражданской войной в Англии, получила достаточно ясное признание и придала окончательную форму многим современным представлениям о нации и национализме (*Хобсбаум* 1998; *Kohn* 1968; *Steiner* 1988).

Третья статья «Декларации прав человека и гражданина» 1789 года гласила: «Источником суверенной власти является нация. Никакие учреждения, ни один индивид не могут обладать властью, которая не исходит явно от нации».

<sup>59</sup> Весьма полезно также описание Англии XVII века и объяснение, почему национализм не встречался раньше, предложенное Гринфельд (*Greenfeld* 1992); ср.: *Marcu* (1975), *Armstrong* (1982).

Несмотря на видоизменение ключевого термина, дискурс национализма по-прежнему доминировал в соответствующей статье Конституции 1793 года: «Суверенитет зиждется в народе; он един, неделим, не погашается давностью и неотчуждаем». Такие идеи связывали революцию непосредственно с традицией Руссо и идеей общей воли (Руссо 1969а). В его «Соображениях об образе правления в Польше» (Руссо 1969б) особое значение придавалось патриотическому образованию, которое способно было не только связать граждан друг с другом и наполнить каждого из них любовью к *la patrie*, но и сделать каждого особой национальной личностью, придав душе «национальную форму»<sup>60</sup>. В Великой французской революции, особенно в ее восприятии на европейском континенте и прославлении в последующей политической борьбе во Франции, нация активно учреждалась в качестве суверенной сущности.

Нация как суверенная сущность предполагала неопосредованные отношения между отдельными членами нации и суверенным целым. Как только такая идея прямого членства в нации возобладала, труднее стало представлять более низкие уровни частичного или второстепенного суверенитета — королей и герцогов, зависимых от императоров, свободные города под защитой князей и т. д. Бургундия или была частью Франции, или была иностранным государством; и если она была частью Франции, то она была просто частью, а не самой нацией. В середине XIX века в Соединенных Штатах требования «прав штатов» в слабой Конфедерации, состоявшей из сильных частей, не всегда были требо-

<sup>60</sup> См.: *Blum* (1986). Еще раньше обращение Монтескье (*Монтескье* 1999) к «духу» законов предвосхитило современный дискурс национальных культур и характеров.

ваниями отдельных альтернативных наций (южные штаты) или Конфедерации как одной альтернативной нации; они зачастую были выступлением против самого национализма. Роберт Ли мог называть Вирджинию «своей страной», но эта «страна», долг перед которой должны были отдать солдаты Конфедерации, представлялась через связь с семьей и общиной (и во многом вертикально, через иерархию нетитулованных дворян и аристократии, а не горизонтально). Она представлялась прежде всего не как категориальная идентичность, предполагающая наличие одного государства и культуры, а как сеть отношений с землей и другими людьми. Конечно, война укрепила идею категориальной общности граждан Конфедерации, как она укрепила и американский национализм Соединенных Штатов в целом. Дискурс национализма был одной из побед в «войне между штатами».

Нетрудно заметить, что обращения к этому суверену часто могли использоваться в качестве «козыря» против других лояльностей и критики, касающейся внутренних различий между членами нации. Только подлинно национальные интересы могут быть легитимными или влиятельными в публичной области; более ограниченные идентичности — например, женщин, рабочих или представителей религий меньшинств — могли быть в лучшем случае приняты как вопросы частных предпочтений, не обладающие общественной значимостью. Слишком часто требование национального единства становится требованием покорности даже в частной жизни<sup>61</sup>.

<sup>61</sup> См., например, пронизательное рассмотрение того, как националистические идеологи пытались навязать определенные стандарты соответствующего сексуального поведения: *Mosse* (1985); *Parker et al.* (1992).

Выдвигать требования от имени второстепенной по отношению к нации категории — крестьян, женщин, расового или этнического меньшинства — значит неявно бросать вызов предполагаемой безупречности нации. Националистическая идеология не враждебна к подобным требованиям изначально. Скорее противоречие возникает из-за риторической склонности представлять требования таких подчиненных групп в качестве вызовов единству нации (определяемому по большей части элитарными группами) или справедливости распределения различных благ внутри нации. Эта проблема оказывается еще более острой там, где (и насколько) членство в нации понимается с точки зрения этнической однородности, а не приверженности общим традициям политического участия, которые не предполагают однородности в других областях культурной жизни.

### Внутренняя интеграция наций

Рассуждения о «самоопределении», обычно подразумевают способность установления легитимной «самости», и это не может быть результатом внешнего решения. Нации создаются внутренними процессами борьбы, коммуникации, политического участия, строительства дорог, образования, написания истории и экономического развития, а также кампаниями против внешних врагов. Борьба не ограничивается национализмом как таковым. Нации создаются отчасти как побочный продукт соперничества за экономическое распределение и контроль над правительством. Интеграция наций производится во имя множества целей — от торговли и капиталистического производства до укрепления государства и религиозного фанатизма. Тем не менее национали-

стические идеологи и движения часто прилагают большие усилия для насаждения собственных представлений о нации (*Kedourie* 1994; *Keane* 1995: 202). Как мы видели, национальная интеграция отражает фундаментальные структурные изменения, но ей также активно содействуют, так что она не является простым функциональным ответом на изменение социально-экономических условий. Эрнест Геллнер отстаивал нечто близкое к последней позиции: индустриальное общество создает нации, содействуя гомогенизации национальной культуры. Геллнер утверждает, что культурная однородность современных обществ—это «необходимое сопутствующее обстоятельство» индустриального производства с его опорой на науку, технологию и массовое образование. «Однородность, ставшая объективной, неизбежной необходимостью, в конечном счете проявляется в форме национализма» (*Геллнер* 1991: 96). Иными словами, националистическое стремление к единообразию отражает основное требование современной промышленности, которая нуждается в этой однородности для своего функционирования. Исходя из этого, Геллнер утверждает, что мы можем пренебречь творческой работой интеллектуалов, излагавших националистические доктрины: «...Эти мыслители мало отличались друг от друга... Мы сталкивается с явлением, непосредственно связанным с основными изменениями наших общих социальных условий и полнейшим изменением отношений между обществом, культурой и политикой» (*Геллнер* 1991: 256). В этом случае недооцененным оказывается как многообразие действительных националистических идеологий, так и способность национализма играть заметную роль в самых разных проектах. Это также, по-видимому, означает сомнительный тезис о том, что «постиндустриальный мир» — или мир, в котором все меньше людей работает

в тяжелой промышленности, — должен быть постнациональным миром.

В классическом случае Германии идея национальной идентичности вытеснила множество издавна существовавших различий между малыми государствами. Точно так же она отменила противостояние между городом и деревней, которое наблюдалось на протяжении большей части истории. Здесь национализм был тесно связан с капитализмом. Процесс создания единого национального государства означал превращение крестьян, скажем, в Провансе, Лангедоке и Бургундии во французов. Как утверждает Геллнер, это произошло отчасти вследствие того, что индустриальный рост привлек в города множество крестьян и привел к строительству обычных и железных дорог, объединивших мелкие местные рынки в национальные и сделавших возможным разделение труда в национальном масштабе. Отчасти этому способствовало также проведение соответствующей государственной политики — наподобие стандартизации образования.

Важную роль в сближении культурно различных членов одних наций сыграло развитие больших постоянных гражданских армий. Эти армии впервые появились во время наполеоновских войн. До XIX века гражданские армии создавались почти исключительно во *внутренних* конфликтах наподобие гражданской войны в Англии или на стороне Америки во время войны за независимость. В международных конфликтах (например, на стороне Британии во время американской войны за независимость) сражались наемники, часто из других стран (так, британцы нанимали гессенцев для войны в Америке), и отряды, состоявшие из людей, набранных на военную службу против своей воли, которые были династическими подданными, а не на-

циональными гражданами. Они возглавлялись аристократами, а не профессиональными военными; офицерское звание было классовой привилегией, а не признанием личных заслуг. Первая мировая война положила конец этому корпусу аристократических офицеров и стала кульминацией процесса превращения войны в вопрос тотальной мобилизации и сражений гражданских армий при поддержке промышленного производства и транспортных систем всего общества (Dyer 1985).

Национальные рынки улучшили коммуникацию (организованную во многом на национальной основе в соответствии с лингвистическими различиями), и действительные контакты между солдатами-гражданами сделали различных членов национальных государств не просто лучше знакомыми друг с другом, но и на самом деле более *похожими* друг на друга. Это сыграло решающую роль в процессе формирования интегрированных наций. Важным аспектом этого было разрушение местных ремесленных цехов в пользу более национально интегрированных профессиональных категорий. Этому способствовало введение новой технологии и фабричной организации, облегчившее набор рабочих не только из различных местностей, но и из различных наций со схожими условиями труда. И на формирование рабочих влияли не только технические требования, но и участие в национальной культуре. На самом деле профсоюзы и рабочие партии в XIX—начале XX века боролись не только за экономические выгоды вроде более высокой заработной платы или здравоохранения, но и за право полноценного участия в жизни нации: за отмену имущественного ценза при голосовании и гарантирование доступа к бесплатному государственному образованию. Как отмечал в 1907 году Отто Бауэр, предвидя появление сил, которые поставили



рабочих на сторону своих наций, а не на сторону международного рабочего класса:

Современный капитализм постепенно разграничивает и низшие классы различных национальностей, ибо и они получают долю в национальном воспитании, в общенациональном языке, в общей культуре нации.

(Бауэр 2002: 88)

На самом деле только с возникновением относительно интегрированных государств, идеи общей принадлежности к чему-то, называемому нацией, и веры в то, что легитимность правителей основывается на согласии управляемых (сравнительно новые идеи), экономическое неравенство могло отразиться в чем-то вроде современных классовых различий.

Феномен национального языка, как утверждает Бауэр, сравнительно современен. Исторически, конечно, латынь была основным языком дальнего и междинастического общения в Европе, и даже французский патриот Жан д'Арманьяк признавался в 1444 году, что он предпочел вести переговоры с англичанами на латыни, так как «не знал французского достаточно хорошо, особенно письменного». Как заметила Гринфельд, прежде чем стать национальным языком простых людей, парижский французский на протяжении нескольких веков служил *международным* языком общения высших классов (Greenfeld 1992: 98). Во многих странах Восточной Европы знать говорила на языке, которого не понимали крестьяне, и лишь поверхностно изучала местные языки, чтобы отдавать указания челяди. Только в XIX веке общение на «национальном» языке — наподобие венгерского в Венгрии — стало вопросом самоопределения для элиты и способство-

вало развитию чувства общности с массами. Именно тогда восточноевропейские ученые приступили к стандартизации языка посредством филологических изысканий, публикации словарей и систематизации орфографии. И в этом они многое черпали из немецкого опыта. Филологические изыскания сыграли особенно важную роль в Центральной Европе, где они широко использовались при обсуждении национальной идентичности. Но Франция также уделяла большое внимание стандартизации языка. Не менее важную роль словари и своды орфографических и грамматических правил сыграли и в национальной жизни Англии и Америки в XVIII–XIX веках, о чем свидетельствует известность Сэмюэля Джонсона и Ноа Вебстера.

Рост культурных сходств мог проявляться в самых неожиданных сторонах жизни. Взять, к примеру, рождаемость. Наличие детей сопряжено с решениями и поведением, на которое большое влияние оказывает культура: речь идет о возрасте вступления в сексуальные отношения и рождения детей, количестве детей, которое должна иметь семья, разнице в возрасте у них и важности вступления в брак перед зачатием первого ребенка. До середины — конца XIX века различия в таком поведении между городскими и сельскими областями и провинциями внутри европейских государств были сильнее различий между странами. Никаких особых национальных различий не существовало; была страна по преимуществу католической или протестантской — не имело большого статистического значения. Ключевую роль играли местные условия и местные традиции. Но с середины XIX века в большинстве европейских стран (в одних местах раньше, в других позже) стали появляться национальные различия: французские семьи начали становиться больше английских, независимо от округа или провинции; немцы поощряли поздний

брак и т.д. Важно осознавать, что обратной стороной международных различий является внутренняя однородность. Иными словами, показатели рождаемости в каждой стране становились все более единообразными. Национальная культура отменяла местные различия (*Watkins 1992*).

В ходе этих процессов одни разновидности коллективной культуры делались «подлинными», другие забывались, превращались в «девиантные» или становились отличительной особенностью «меньшинств». Это было связано не только с изобретением новых традиций, но и с закреплением прежде более гибких и постоянно обновляемых традиций и институционализацией определенных пристрастий и влиятельных сил культурного регулирования (*Hobsbawm and Ranger 1983*). Так, например, создатели современной турецкой идентичности опирались на предшественников, которые могли пониматься в качестве «всегда уже» турок — сочетание анатолийской культуры, османского имперского наследия и ислама, но также как и создание чего-то нового, чего-то четко связанного с неимперским государством и с идеей нации, а вместе с тем — и это, пожалуй, наиболее известный аспект — с западным секуляризмом. И именно потому, что нация создавалась по образцу, который требовал внутренней однородности и подлинности, турецкое национальное строительство сопровождалось геноцидом армян.

### ЭТНИЧЕСКИЕ ЧИСТКИ, РАННИЕ И ПОЗДНИЕ

Вспомним бывшую Югославию и ужасы этнических чисток. Хорваты и сербы изгоняли друг друга из своих этнически определенных республик. Словенцы — не меньшие этнические националисты — имели не слишком много представите-

лей других этнических групп на своей территории и потому смогли стать независимыми без такого сильного стремления к внутренней однородности. Тем не менее в Боснии было открыто провозглашено многонациональное государство — к недовольству этнических националистов, особенно сторонников большой Сербии. Произошедшее вызвало возмущение в мире. Как мы видели, западные лидеры и средства массовой информации описывали происходившее как следствие некой давней ненависти, свойственной Балканам. Отчасти однородность национальной культуры, для создания которой во Франции потребовалось долгое время, была именно тем, чего сербские националисты пытались добиться в Боснии при помощи насилия, убийств и террора.

Рынки, коммуникационная и транспортная инфраструктура и общая военная служба привлекательнее убийств и насилия. Но не нужно считать, что процесс национальной интеграции во Франции или в других западноевропейских странах был совершенно мирным. Франция известна как одна из наиболее интегрированных стран Европы с гражданами, отчаянно отстаивающими свой язык и кухню и выражающими беспокойство насчет возможности распада национальной культуры вследствие притока исламских иммигрантов. Тем не менее эта однородность создавалась не только высокоцентрализованной системой образования, но и завоевательными войнами, в ходе которых короли — особенно Бурбоны — постепенно распространили свое влияние над всей территорией, которую теперь принято считать «естественным» шестиугольником Франции, упразднив в конечном итоге угрозы со стороны герцогов Нормандии, которые были также королями Англии, и герцогов Бургундии, превосходивших иногда по своей мощи всю Францию. Мы — и миллионы французов — вспоминаем сегодня Жанну

д'Арк в качестве образцового примера патриота — патриота необычного, потому что она была женщиной, но все же выдающегося, потому что она желала отдать свою жизнь за своего короля и страну. Но смерть Жанны в Столетней войне (1337–1453) вовсе не была частью простой борьбы между Францией, какой она теперь известна нам, и Англией: борьба велась за наследование короны, в которой оба претендента были членами одной семьи, и отличалась главным образом религиозной сакрализацией французского короля, что было также особенностью французского государства и культурной унификации Франции. И если Жанна была готова умереть за то, чтобы Франция могла быть более французской и более католической, многие ее соотечественники были готовы убивать во имя той же цели. Такие конфликты только усиливались. Знаменитая Варфоломеевская ночь 1572 года была не менее жестоким погромом, чем в большинстве республик бывшего Советского Союза, начатым против протестантов королем Карлом IX и его матерью — французскими «патриотами» флорентийского разлива. Религиозная борьба была столь рьяной, что королева-мать была вынуждена объявить происходящее своеобразным братоубийством: «Французы не должны считать других французов турками» (*Greenfeld* 1992: 106). Это было первое признание важности преодоления религиозных различий во имя национального единства, но национализм все еще был этнокультурным, а не «гражданским», каким его пытались сделать более поздние революционеры. Отчасти Франция была создана в результате таких религиозных — и частично этнических — «чисток». Как мы видели в третьей главе, в конце XIX века выдающийся французский патриот и крупный теоретик национализма Эрнест Ренан (*Renan* [1882] 1990) утверждал, что хотя такие акты насилия способствовали форми-

рованию нации, простым людям важно было забыть о них и считать нацию данной, а не насильственно созданной. Мы не можем согласиться с Ренаном в том, что принцип национальности служит веским основанием для такого забвения — большинство из нас вспоминает религиозное насилие, погромы и Холокост не только для того, чтобы почтить память погибших, но и как предостережения. Тем не менее его историческое обобщение кажется верным. Опыт национальной идентичности обычно зависит от такого забывания.

Возможно, как утверждают некоторые теоретики, национализм «поздних модернизаторов» представляет особую опасность (*Bendix 1964; Nairn 1977; Schwarzmantel 1991*). Но многое из того, что мы теперь считаем мирным патриотизмом устоявшихся и образцово современных западных наций, представляет собой результат более ранней кровавой истории. Процесс консолидации государств и наций был долгим и отнюдь не естественным<sup>62</sup>. Исторически он вызывал конфликты в государствах, которые мы теперь считаем стабильными демократиями, точно так же как он вызывает конфликты в складывающихся государствах. То, что теперь кажется прочной, почти естественной национальной идентичностью, представляет собой результат символической борьбы, а также культурного и вполне материального насилия. Конечно, не только насилия: национальная идентичность и общие истории — это также результат культурного творчества: написания романов, которые желают читать миллионы, совместного просмотра телепередач, общего опыта вроде американских травм Великой депрессии или убийства Кеннеди; все это создает у людей ощущение общей истории. Но когда мы оцениваем культурные столкновения, которые

<sup>62</sup> Резкую критику «аисторичности» см.: *Walker Connor (1994: Ch. 7)*.

КРЭЙГ КАЛХУН

осложняют сегодня переход развивающихся стран к демократическим политическим системам, нам необходимо помнить, что часто бывает трудно сделать за одно поколение то, на что в других странах ушли века, и попытки достичь этой цели скорее всего будут сопряжены с насилием.

## 5. УНИВЕРСАЛИЗМ И ОГРАНИЧЕННОСТЬ

Национализм не только появляется во множестве форм и контекстов, но и несет в себе множество различных политических и моральных ценностей. Национализм может означать поддержку модернизации и объединения вопреки считающемуся отсталым и конфликтным «трайбализму» или «коммунализму»<sup>63</sup>. Или он может означать шовинистическое отстаивание достоинств и интересов своей собственной нации за счет других или общего блага. Национализм также принимает форму поддержки своих команд на футбольных чемпионатах и Олимпийских играх, а не только войн и экономической конкуренции (*Billig* 1995). Сегодня, возможно, трудно припомнить, когда мы стали связывать национализм с «отсталыми» притязаниями этнического локализма, но в 1780–1870-х годах национализм был либеральным, космополити-

<sup>63</sup> Например, в Индии слово «национализм» используется применительно к общеиндийским движениям и идеологиям, наследию антиколониальной борьбы и особенно программе Индийского национального конгресса. Другие подобные (и в широком смысле слова националистические) программы, выдвигаемые менее крупными группами, например сикхами, индуистами или мусульманами, называются «коммуналистскими».



ческим дискурсом, подчеркивавшим свободу всех народов. Короче говоря, дискурс национализма слишком важен и распространен, чтобы приклеивать ему ярлык «хорошего» или «плохого». Идея нации настолько глубоко укоренена в современных способах создания личной и коллективной идентичности, что она помогает людям сознавать свое место в мире независимо от действий, которые они предпринимают, исходя из этого сознания места.

Западный / восточный, ранний / поздний,  
космополитический / локальный

Несмотря на это, некоторые группы ученых склонны проводить различие между патриотизмом как «хорошей» любовью к стране и национализмом как «плохим» искажением (Doob 1964; Conover and Hicks 1996). Это не только связано с общим желанием сохранить четкое различие между хорошим и плохим, но и отражает часть истории самого националистического дискурса. Как мы видели в предыдущей главе, современная идея нации возникла вместе с идеей демократии в качестве составляющей стремления положить в основу политики волю «народа». Нация могла отождествляться с населением страны, противостоящим своим правителям — независимо от того, были ли они чужеземцами или просто монархами, которым не хватало народной поддержки. В то же время разговоры о нации могли использоваться для мобилизации народа одной страны в войне с соседями. Одно и то же обращение, например, к английскости могло воодушевить и сторонников парламента, которые боролись *против* короля, и англичан, которые боролись *за* короля против французов (или, в других случаях, против шот-

ландцев). Патриотизм, таким образом, был палкой о двух концах, что вызывало озабоченность у монархов: они одновременно зависели от него и боялись его. Как сказал австрийский император Франциск, когда кого-то отрекомендовали ему как патриота Австрии: «Он может быть патриотом Австрии, но вопрос в том, является ли он моим патриотом» (*Kohn* 1967: 162).

С точки зрения раннего либерального национализма, такие высказывания свидетельствовали о том, что именно было не так в королях и императорах. Люди должны быть верны не таким правителям, а своим нациям. Именно как члены таких наций они могли достичь «самоопределения» и в смысле демократического самоуправления (или по крайней мере создания республиканской конституции), и в смысле независимости от господства других наций. Но такая либеральная теория предполагала, что для каждой нации было очевидно, кто был «своим», гражданином, а кто был «чужим», иностранцем<sup>64</sup>. Каждый человек считался внутренне непротиворечивым индивидом, и каждая нация считалась также внутренне непротиворечивой со «своими» индивидами, четко и по отдельности входящими в нее. Эти индивиды могли испытывать оправданное чувство гордости за достижения своей нации — и делать оправданной войну с ее врагами, — не нарушая чьих-либо прав. Этот либерализм оказывался несостоятельным при столкновении с реальностью спорных, пересекающихся и нечетких границ; и он не в состоянии был контролировать процессы, в результате которых складывались

<sup>64</sup> Критику таких либеральных теорий с их невниманием к внутренним конфликтам и борьбе см.: *Nairn* (1977). Среди недавних попыток воскрешения и воссоздания либеральной теории см.: *Tamir* (1993).

национальные идентичности и посредством которых население, проживавшее на определенной территории, побуждали (или заставляли) принимать более или менее схожие идентичности, языки и образы жизни. Таким образом, либеральная теория считала само собой разумеющимися исторические процессы, которые вели к созданию не вызывавших споров национальных идентичностей, обычно преувеличивая степень согласия. Она называла «патриотизмом» те случаи, когда люди, обладавшие прочными национальными идентичностями, гордились своими достижениями или, уверенные в своей правоте, выступали против внешней агрессии<sup>65</sup>. Она называла плохим «национализмом» те случаи, когда люди боролись друг с другом за закрепление того или иного конкретного определения национальной идентичности.

Не удивительно, что такое представление возникло во многом в результате противопоставления опыта Западной и Восточной Европы. В то время, когда современный националистический дискурс (и современная социальная наука) сформировался и консолидировался (между XVIII

<sup>65</sup> От этого не были свободны и великие социологические теоретики. Макс Вебер на волне общего воодушевления в начале Первой мировой войны писал, что «независимо от исхода, эта война является по-настоящему великой и превосходящей все ожидания» (*Marianne Weber* 1988: 528). Вебер также выражал энтузиазм по поводу «исторических задач немецкой нации» и считал самоочевидной идею о том, что «насущные интересы нации несомненно важнее демократии и парламентаризма» (*Max Weber* 1976: 1394, 1383). Конечно, Вебер не был наивным милитаристом и выступал против планов расширения за счет аннексии, выдвигаемых сторонниками единства «Великой Германии». О Вебере и немецком национализме см.: *Mommsen* (1984); *Beetham* (1985).

и XX столетиями), большинство западноевропейских стран уже обрели или стояли на пути к обретению относительно прочных и устойчивых национальных идентичностей. Социально-экономическая интеграция, культурные и лингвистические особенности и политические границы в значительной степени совпадали. В Центральной и Восточной Европе, напротив, велись куда более серьезные споры о том, что именно составляло нацию. В 1789 году немецкоязычное население проживало примерно в 300 государствах и 1500 мелких княжеств и все еще было разделено в 1815 году на 39 более или менее самостоятельных административно-территориальных единиц (Mann 1993: Ch. 9, 10; 1995: 50). В политическом отношении «Германия» была скорее *проектом* некоторых представителей немецкоязычного населения, а не действительно существующей политической реальностью. Часть немцев проживала в Австрии и принимала участие в управлении империей, включавшей венгерскоязычное население, представителей славянских и других языков. Многие восточноевропейские страны, которые в настоящее время представлены в ООН в качестве независимых наций, тогда страдали от борьбы не только между своими собственными членами, но и между соседями, включая Россию и скандинавские страны. В пределах каждой из этих стран существовало несколько языков и диалектов и проживали люди, отстаивавшие другие политические проекты, например, единства всех славян или независимости различных славянских «народов». Именно в этом контексте «национализм» стал отождествляться с «проблемами», возникавшими в процессе формирования (или неудачного формирования) «нормальных», стабильных национальных государств.

Поляки, венгры, чехи и немцы могли считать свои националистические проекты схожими с патриотизмом французов

и англичан и не менее обоснованными. Но в дискурсе национализма преобладал идеальный тип относительно стабильных западноевропейских стран. Так, широкое распространение получила оппозиция между умеренным интегральным «западным» патриотизмом и эмоционально разрушительным и популистским «восточным» национализмом (*Hayes* 1931, 1966; *Kohn* 1967, 1968; *Alter* 1989; *Smith* 1991). Это противопоставление западного / восточного близко к оппозиции между «политическим» или «гражданским» и «культурным» или «этническим» национализмами. В первом случае национальная идентичность считается чем-то, что возникает вследствие законного членства в сложившемся политическом государстве; членство в нации определяется прежде всего политической идентичностью граждан. В последнем случае национальная идентичность определяется на основе неких культурных или этнических критериев, отличных от политического гражданства и, возможно, предшествующих ему.

В качестве примера этнической или культурной нации чаще всего приводят немцев, а в качестве примера «западного» политического или гражданского национализма — французов. Но хотя такое различие действительно существует, едва ли имеет смысл говорить о двух совершенно отдельных явлениях. Франция и Германия и вся Западная и Восточная Европа сформировались под влиянием международного дискурса национализма, в том числе этнических притязаний и гражданских проектов участия народа в политике<sup>66</sup>.

<sup>66</sup> Наличие этого «гражданского» измерения в немецком национализме позволило Юргену Хабермасу предложить «конституционный патриотизм» в качестве наиболее подходящего пути для Германии (и, возможно, Европы). Хабермас, по сути, предлагает пересмотреть немецкий национализм в сторону боль-

В Европе XVIII века между этими двумя измерениями не было непреодолимой пропасти (*Meinecke* 1970; *Ishay* 1995). Владение многими языками было одной из отличительных черт ученого и нового продукта эпохи Просвещения — интеллектуала. Ни о каком простом противопоставлении космополитического идеала гражданина мира национализму не было и речи. Идеологии нации рождались частично как способы придания определенной формы гражданства в мире. Это была концепция космополитических элит, которые часто оценивали степень своей просвещенности, сравнивая себя с окружающими крестьянами. Но национализм означал выступление «народов» против династий, и в конечном итоге международные различия стали считаться более сильными, чем различия между городом и деревней.

Космополитический идеал начал связываться с представлением о нации как о политическом сообществе — образцовая французская идея — и был поставлен под сомнение теми, кто подобно Фихте желал осмыслить нацию с точки зрения этничности, примордиальной культуры или расы. Это различие проводится Ренаном (*Renan* [1882] 1990), когда он отделяет нации, возникающие в результате свободного выбора своих граждан («ежедневный плебисцит»), от наций, которые опираются на идентичность и сплоченность, независимо от добровольного решения своих членов. Последние заявления особенно часто встречались там, где борьба велась между предполагаемыми нациями, а не между нациями и династическими правителями. Но даже примордиальные разновидности национализма содержали в себе элемент уни-

шей лояльности политическому государству и его конституции и ослабления его этнической составляющей. См.: *Хабермас* (1995, 2001, 2005).

версализма, отстаивая форму «нации» даже тогда, когда отдельные нации противопоставлялись другим универсалистским дискурсам.

С распространением критики абсолютной монархии и подъемом республиканской идеологии быстро выросла озабоченность определением политического сообщества. Гражданин мира должен был быть также гражданином чего-то особенного. Этот вопрос постоянно находился в центре внимания теории общественного договора, а у Руссо идея выбора свободных индивидов была дополнена намного более сильным представлением об обществе. Руссо также интересовало возникновение языка как основы этого сообщества, и он отстаивал (в «Эмиле») необходимость обучения на «родном» языке. Но в целом во Франции в конце XVIII века вопрос о языке не играл такой роли, которую позднее он стал играть в Германии. Наблюдался рост спроса на использование разговорного французского языка (вместо латыни и греческого) и определенное движение к языковой стандартизации (хотя, как уже было отмечено ранее, в середине XIX века этот процесс был далек от завершения). Но французы не пытались приравнять французскую национальность владению французским языком. Мало того что различные местные диалекты по-прежнему сохраняли свое влияние, *College de France* в XVIII–XIX веках не имел даже профессоров французского языка<sup>67</sup>. Французские идеи гражданства по-прежнему остава-

<sup>67</sup> Колониальный опыт XIX века изменил отношение к языку во Франции и Британии. Первые кафедры английского языка были основаны в индийских университетах, но вскоре распространились и в самой Британии. Французская академия стала органом языковой стандартизации (а не просто пантеоном живых литературных божеств) не только под влиянием Про-

лись прежде всего политическими, а не этническими (*Kohn* 1968; *Brubaker* 1992; *Kedourie* 1994). Поэтому Франция служила примером успешного создания национального государства в эпоху Нового времени. В течение долгого времени разнообразные герцогства и другие феодальные территории превращались в провинции нового национального государства и вплетались во все более действенную централизованную структуру власти, сконцентрированную в главном городе. Деятельность государства в образовании, транспорте и других областях способствовала экономической и культурной интеграции<sup>68</sup>.

На Востоке процесс формирования государства развивался несколько иначе. Там, где централизованное французское государство на протяжении нескольких веков занималось национальной интеграцией, создатели немецкого государства только в конце XIX века смогли прийти к сколько-нибудь существенной политической интеграции культурно близких немецких народов, и лишь ненадолго при Третьем рейхе такая унификация почти полностью охватила всю немецкую Европу. Глубокий и этнически ориентированный немецкий национализм воспитывался

свещения, но и под влиянием государственного строительства и реформы образования.

<sup>68</sup> По иронии судьбы, именно успешная интеграция французского национального государства могла способствовать совершению во Франции целого ряда республиканских революций, которые не просто притязали на народную легитимность, но и стали возможными благодаря концентрации государственной власти в немногочисленных пространственно централизованных институтах, которые могли быть захвачены революционерами (*Calhoun* 1988).



самими строителями немецкого государства в эпоху от Бисмарка до Гитлера. Но это было не просто внутреннее развитие, а рост в мире, где национализм был общим способом понимания политических границ и притязаний на легитимность. Само влияние этого международного дискурса стимулировало интенсивную борьбу многих немцев за создание сильного чувства немецкой идентичности. Без единого немецкого государства, полагали они, немецкая культура не будет оценена по достоинству и к немцам не будут относиться с тем же уважением, что и к людям, чья политическая жизнь уже была организована по образцу национального государства.

В этом контексте язык и другие этнические черты стали играть решающую роль в определении немецкой национальности и борьбе за объединение. Там, где Руссо искал процесс, посредством которого естественная независимость превращалась в национальные общества и суверенитет, немецкие романтики заявляли об изначальной принадлежности каждого человека к идеально суверенной нации. Несмотря на политическую фрагментацию, немецкий язык во всех германских государствах использовался шире, чем французский в политически централизованной Франции. В работах ученых—Гердера, Шлейермахера и Фихте—язык описывался как особое выражение особой формы жизни, позволявшее обрести уникальный опыт и внести свой вклад в историю. Изначальные, простые языки превосходили, таким образом, сложные, производные языки, так как они напрямую отражали дух народов, говоривших на них. Заимствования вели к разложению. Язык, таким образом, служил основным критерием существования нации (*Kedourie* 1994: 62–73). Кроме того, в сочетании с идеями расы, культуры и общей этничности он свидетельствовал

о том, что нация была примордиальной, а членство в ней — неизменным<sup>69</sup>.

Противоположность между Францией и Германией еще глубже. Франция с большей охотой предоставляла французское гражданство иммигрантам, тогда как Германия, несмотря на присутствие в ней сопоставимого числа иммигрантов, как правило, отказывалась предоставлять им немецкое гражданство, если они не были этническими немцами (*Brubaker* 1992). Но нам не следует слишком увлекаться противопоставлениями. Обеспокоенность языком как основой национальной идентичности во Франции кажется сегодня более острой, чем в Германии. По замечанию Смита (*Smith* 1986: 149), «все нации несут на себе след территориальных и этнических принципов и составляющих и отражают непростое сочетание более современной “гражданской” и более древней “генеалогической” модели социальной культурной организации». За антисемитскими нападениями на Дрейфуса в XIX веке стояла этническая концепция *la patrie*; Моррас стремился создать истинную французскую нацию, свободную от евреев, протестантов, масонов и других чужаков (*Sutton* 1982). Это наследие продолжает играть важную роль в спорах об иммиграции (*Todorov* 1990; *Noiriel* 1991, 1996). В 1991 году, когда выступления протеста и споры об иммиграции сотрясли французскую политику, консервативный президент Жискара д’Эстен сделал удивительно «этницистское» заявление о подлинной французской идентичности, очевидно, стремясь найти поддержку у антииммигрантски

<sup>69</sup> Но Андерсон (*Андерсон* 2001: 71) напоминает нам, что в ранних националистических движениях представители латиноамериканских креольских элит говорили на одном языке с колониальной державой, против которой они выступали.

настроенных избирателей. Его осудили не только левые, но и бывший консервативный премьер-министр и лидер Объединения в поддержку Республики Жак Ширак: «Я полагаю, что закон об общем происхождении в строгом смысле слова или закон о крови не отвечает... ни республиканской традиции, ни исторической традиции Франции»<sup>70</sup>.

### Локальное в глобальном

Дискурс национализма возник отчасти вследствие стремления осмыслить идентичности в масштабе и форме, которые отвечали развитию современных капиталистических рынков и современных государств с их значительными административными возможностями и способностями к мобилизации граждан для участия в войне. Организационные способности прямых социальных отношений индивидов — например семьи, общины — не соответствовали крупным и далеким структурам не прямых отношений (*Calhoun* 1991, 1992). Но идея нации и действия, основанные на этой идее, отвечали этому драматическому расширению масштаба организации социальной жизни. Свидетельством этого, как было показано ранее, служило создание современных карт.

Местные отношения по-прежнему важны для людей; общины зачастую играют жизненно важную роль. Но эти местные отношения неспособны организовать масштабную деятельность, связанную с формированием современных государств и капитализма. Новые идентичности и движения возникают не только в ответ на изменения масштаба социальной организации и передачи культуры, но и на основе этих измене-

<sup>70</sup> Цит. по: *Le Monde*, 1 October 1991.

ний. Так, современные исламские движения — это продукт экономической, политической и культурной глобализации, а не просто местной реакции<sup>71</sup>. Они не только связывают между собой различные ведущие исламские страны, но и частично подпитываются опытом жизни в исламских анклавах на Западе. Так, обращения аятоллы Хомейни были направлены и к эмигрантам во Франции, и к священному городу Куму; записанные на ленту, его послания распространились по миру шире, чем «Коммунистический манифест» при жизни Маркса или «модернистские» идеи «младоевропейцев» или «младотурок». Они, например, встречали отклик в южноазиатских мусульманских анклавах в Британии и в исламских странах от Судана до Пакистана. Возможно, послания были реакционными по отношению к современному Западу и формам, которые приняла вестернизация в Иране и остальном исламском мире. Но они также носили универсальный и в некотором смысле космополитический характер *внутри* исламского мира. Они обращались к мусульманам как к индивидам, где бы они ни находились, и как к членам великого сообщества исламской веры, а не как к членам промежуточных этнических или местных политических общностей. Идеология исламского фундаментализма нелиберальна, но во многих отношениях она универсальна. Она представляет собой международный, даже глобальный способ осмысления локального.

Хотя нации могут объединяться плотными сетями социальных отношений и институциональной взаимозависимо-

<sup>71</sup> Ср. заблуждения Барбера (*Barber 1995*), считающего ислам ограниченным и сравнительного гомогенным, а исламский фундаментализм простой реакцией на глобализацию, направленную главным образом на Запад, а не частью борьбы за характер и будущее самого ислама.

сти, сам их масштаб предполагает, что они являются прежде всего категориальными идентичностями. Независимо от того, насколько они интегрированы с точки зрения культуры или социальных институтов, они не могут быть тесными личными сетями. Хотя националистические идеологии могут опираться на риторику «общины» и «семьи», нации глубоко отличаются от таких неизбежно более локальных объединений, связанных непосредственными межличностными отношениями.

Идея нации также по своей сути интернациональна и частично действует через противопоставление друг другу различных наций. Националистическая риторика предлагает способ концептуализации идентичности любой страны, который предполагает существование других более или менее сравнимых единиц. До появления национализма многие социальные группы и государства сосуществовали друг с другом, не испытывая необходимости обсуждать или отстаивать равнозначность городов государств, княжеств, племен, королевств и т. д. В мире в принципе возможно было существование нескольких империй; они могли вступать в отношения друг с другом или с менее крупными административно-территориальными единицами. Внутри них различные политические единицы могли отчитываться перед имперскими центрами; короли и герцоги, вожди племен и местные военачальники могли платить дань, но без какой-либо стандартизации. Китай служил прекрасным примером империи, сочетавшей в себе множество внутренних составляющих и внешних данников. Но во многом под давлением европейской экспансии китайцы стали переосмысливать свою страну в качестве нации, одного из многих схожих эквивалентов.

Представление о Китае или любом другом предполагаемом национальном государстве как о единице в мировой

системе таких государств отражало не только глобализацию, но и изменение значения «локального». С одной стороны, национальное государство само по себе было носителем локальной идентичности в международных контекстах. С другой стороны, в состав самого национального государства входили области непосредственно межличностных отношений и меньших сообществ, этнических и региональных объединений. В этом случае речь шла о его внутренних делах: например, Китай отстаивал право на свободу от внешнего вмешательства в вопросе Тибета, который, с его точки зрения, был просто одним из его районов, а не самостоятельной нацией. Риторика национализма представляла нации в виде посредников между глобальным (мировая система национальных государств и транснациональных корпораций) и локальным (внутренние дела и внутренние линии культурных или иных различий). Нация могла включать локальные (субнациональные) различия, но она должна была отстаивать общность или единство между ними, представляя себя в виде единичного носителя локальной идентичности. Только это позволяло выдвигать риторические притязания на единичную самость с целью самоопределения и создания единичного государства. В результате этнические и иные группы, пересекающие национальные границы, наподобие курдов, разделенных между Турцией, Ираком и Ираном, становились аномалиями. В националистическом мире единственно верным проявлением локальности было пребывание внутри нации.

Использование международной риторики национализма в притязаниях на локальное самоопределение не только отражало приверженность отстаиванию локального своеобразия в международно-признанных терминах. Это также означало превращение локальной нации в нечто, обладающее глобаль-

ной значимостью, конструирование ее в качестве эквивалента другим нациям. Мы можем увидеть иронию этой смены перспективы на примере реконструкции древнего Китая как современной нации. Эта реконструкция была не просто приложением международной риторики — она была продуктом китайского дискурса, который соединял старые местные корни с преобладающей западной риторикой национальной идентичности, наделяя последнюю своей самобытностью.

В конце XIX — начале XX века идея нации была для китайца совершенно новым способом понимания того, что значит быть китайцем. Раньше — тысячелетиями — Китай считался «поднебесной» или «срединным царством», включавшим центр и огромную часть этого мира. Китай не был одной из многих равнозначных единиц в большом мире. Китай не был одним из государств или одной из цивилизаций — он был олицетворением цивилизации как таковой.

Это «культуралистское» понимание масштабной коллективной идентичности резко противоречило националистической мысли. Раньше китайская культура был единым целым, которому индивиды и отдельные поколение могли более или менее точно соответствовать. Это отчасти отразилось в следующем описании «всесторонней» подготовки образованных чиновников конфуцианского Китая: «его подготовка была важна не только для службы [то есть выполнения профессиональных задач], но и представляла собой целый корпус обучения — художественного и морального, обладающего самостоятельной ценностью» (*Levenson* 1958: 42). И если старый образ мысли требовал, чтобы все нововведения обосновывались демонстрацией того, что они отвечают традиции, то новый подход требовал, чтобы и нововведения, и традиционное наследие одинаково обосновывались демонстрацией того, что они отвечают интересам нации.

Одним из ключевых шагов на пути к этому было конституирование Китая как одной из множества подобных единиц, обладавших «параллельными историями»<sup>72</sup>. Вместо описания Китая как мира или как цивилизации интеллектуалы конца XIX и особенно начала XX века стали употреблять слово *го*, которое раньше использовалось для обозначения государства. В имперском Китае могло существовать множество таких государств; конфуцианский Китай мог даже признавать существование варварских государств, наподобие платившей ему дань Кореи. Но на рубеже веков Китай и сам стал все чаще описываться как *го*. Поначалу он все еще связывался с династией; *го* означало в буквальном смысле «отдельный правящий режим», как в *цзинго*, который сводил имперский режим к статусу просто правящей силы (Levenson 1958: 98–114; Dittmer and Kim 1993). Первоначально *го* отождествлялось со знатью, входившей в ту или иную крупную единицу, а не с простым народом, который не обладал политической идентичностью. Но постепенно значение стало смещаться в сторону идеи народа; Китай стал *чжунго* или, в целом, *чжунгожень*—китайской нацией<sup>73</sup>.

<sup>72</sup> Как утверждает Андерсон (Андерсон 2001), восприимчивость к параллельным историям отражала не только растущее осознание существования более широкого мира, но и более глубокое знакомство с письменными повествованиями, в том числе с историческими сочинениями и романами. Последние сыграли важную роль в распространении представления об одновременных событиях, происходящих в различных субповествованиях, то есть организованных вокруг различных сюжетных линий или вокруг различных героев.

<sup>73</sup> *Жень* означало народ или людей; *чжунгожень*—это нечто вроде «китайской нации (или государства), народа». Имеется множест-



И если раньше *го* было политической единицей, определяемой только своей властью, оно стало теперь хранилищем главных ценностей. Но в отличие от идей китайской или конфуцианской цивилизации, которые сами по себе были благом, *го* было способно извлекать пользу из множества благ. Оно было ценным, но оно также позволяло ценить различные блага — от богатства до военной силы. При таком подходе Китай мог сохранить свое культурное содержание и перенять формальное устройство одной из многих суверенных наций мира. Но необходимо было дать ответ на вопрос о том, каким образом Китай мог учиться у Запада, не утрачивая при этом своей сущности. Ответом стала одна из разновидностей старого наставления *тиянь*: использование китайского знания в духовных вопросах и западного знания в практических целях. Но теперь практические цели могли возобладать; для оправдания китайского знания могли использоваться инструментальные критерии, и можно было извлечь множество уроков из сопоставления Китая как нации с другими нациями мира. Эти возможные уроки горячо обсуждались в новой периодической печати, которая расцвела в Китае в начале XX века (*Chow* 1960; *Schwarcz* 1986; *Huang* 1996). В Китае, как и в других странах, рост грамотности и печатной культуры способствовал развитию международных культурных ресурсов и созданию относительно крупной внутренней публичной сферы, кото-

во других слов и словосочетаний, которые отражают китайское стремление выработать соответствующий словарь национальной идентичности. Например, слово *миньцзу*, происходящее от традиционного обозначения сородичей, было расширено и стало обозначать нацию в целом. Это могла быть «нация» говоривших на китайском языке *чжунхуа миньцзу* и политическая нация.

рая сама по себе была важна для появления националистической мысли.

Тем не менее слишком большое усвоение иностранных идей могло вызывать нервозность даже у сторонников модернизации. В 1934 году Гоминьдан (или Китайская националистическая партия) писала в своей брошюре:

Нация всегда должна оставаться верной своей истории и своей культуре, чтобы сохранить свою независимость. Для сохранения веры в себя и решительного движения вперед нельзя отказываться от своей старой цивилизации, дабы не превратиться в реку без истока или дерево без корней. В своем желании усвоить новое знание западной цивилизации нам необходимо опираться на конфуцианские принципы. Весь народ должен обратиться к учению и действовать сообразно мыслям Конфуция.

(*Levenson 1958:106*)

Но разговоры о китайской самобытности касались специфически локального содержания универсального термина — нации. И в стремлении к развитию национального государства — прогрессу — вся литература ссылалась на «исторические предостережения стран, канувших в вечность» (об исторических сочинениях китайских националистов см.: *Hunt 1993*). Марксизм также был одновременно заимствованным у Запада продуктом, который имел свое представление о «нациях» и этапах истории, и идеологией, которая могла быть освоена и поставлена на службу целям китайского национализма (*Hoston 1994*).

Этот дискурс повлиял на конструирование национальных идентичностей не только в Китае, но и во всем мире, где притязания на особые локальные идентичности — китайскую, турецкую или испанскую — обычно излагались в тер-

минах космополитического дискурса национализма. Разумеется, национализм всегда был дискурсом о многообразии и самобытности наций, но он также был дискурсом об устройстве наций как действующих сил истории, в соответствии с интересами которых мог оцениваться прогресс. Это было особенно заметно при создании наций из империй и разрозненных княжеств в конце XIX века.

Не все государства находились в равных условиях для осуществления центральной власти и не все могли притязать на объединение «своей нации» в своих границах. Китай всегда поражал и продолжает поражать степенью культурного единства среди подавляющего большинства населения<sup>74</sup>.

<sup>74</sup> Также верно, что китайская идеология обычно преувеличивает степень этого единства. Речь идет не только о необычайном языковом многообразии среди ханьских китайцев, но и об этнических меньшинствах, численность которых довольно велика. Меньшинства составляют менее 10 % китайского населения, но на них по-прежнему приходится свыше 80 миллионов человек. Численность некоторых крупных меньшинств превышает численность большинства европейских наций. Китайские коммунисты поначалу соблазняли национальные меньшинства разговорами о самоопределении, а затем — после прихода к власти — полностью изменили свое отношение, как показывает следующий текст, опубликованный в октябре 1949 года:

«Сегодня следует прекратить разговоры о “самоопределении” меньшинств. В прошлом, в период гражданской войны, чтобы поддержать противостояние меньшинств реакционному правлению Гоминьдана, мы выдвинули этот лозунг. Тогда он был уместен. Но сегодня ситуация коренным образом изменилась... Ради завершения великой цели объединения нашего государства, ради противодействия заговору империалистов и их прихвост-

Но китайская национальная идентичность также приписывалась и избиралась миллионами китайцев, проживавшими за пределами Китая, людьми, в различной степени ассимилированными другими коллективными идентичностями — на Филиппинах, Гавайях, в Индонезии, Малайзии и других странах. Многие из тех, кто поддержал республиканскую революцию 1911 года, принадлежали как раз к этим неоднозначным полукитайцам; многие другие были студентами, вернувшимися домой после учебы за границей. Но эти группы, конечно, имели все основания называться китайцами; одновременно они отличались от образцовых и предположительно наиболее подлинных китайцев, сконструированных в литературе и националистическом дискурсе.

Существование членов культурно определяемой китайской нации, проживавших за пределами политически определяемого китайского государства, вызывало беспокойство китайских правителей и других китайских националистов на всем протяжении современной эпохи. И особую нервность вызывала ситуация, когда на некоторые территории Китая (вместе с китайским населением) начинали претендовать европейские державы или Япония и когда между эт-

ней, направленному на раскол национального единства Китая, нам не следует выдвигать этот лозунг во внутреннем национальном вопросе и не следует давать возможность использовать его империалистам и реакционным элементам среди различных национальностей... Хань составляет большинство населения страны; более того, хань сегодня является главной силой в китайской революции. Победа демократической революции китайского народа во многом зависит от усилий ханьского народа во главе с Коммунистической партией Китая».

(Цит. по: *Gladney* 1990: 70)

ническими китайцами и различными политическими режимами возникали серьезные противоречия. «Ирредентизм» или попытка восстановить единое правление над большей якобы национальной территорией, таким образом, имеет глубокие корни в китайской политической мысли.

В 1997 году «воссоединение» Гонконга с Китайской Народной Республикой (КНР) и возвращение Макао Португалией ознаменовало собой конец чисто колониальной разновидности этой проблемы. Отметим, однако, что жители Гонконга объявлялись просто частью китайской нации, которую должна была вернуть имперская Британия, а не «самостью, заслуживающей самоопределения». Отметим также, что КНР считалась представительницей китайской нации, а передача Гонконга государственным властям КНР описывалась как «возвращение», даже если КНР возникла более века спустя после того, как Гонконг стал британской колонией. Идея о нации, определяемой с точки зрения дополитического культурного единства, возобладала над идеей демократического самоопределения.

Произойдет ли то же самое и с Республикой Китай (Тайвань) — время покажет. Конечно, Тайвань представляет собой намного более независимое государство, чем Гонконг. Но его правящие элиты Гоминьдана (иммигранты с материка) опирались на ту же идеологию национального единства, что и их коммунистические коллеги в КНР. Они заявляли о существовании единой китайской нации, которая в принципе должна иметь одно государство, но которая оказалась временно разделенной вследствие превратностей истории. Попытки переосмысления этого встречают резкий отпор и на Тайване, и в КНР.

Этническое и иное многообразие внутри нации не было слишком важной проблемой для Китая, хотя она и начи-

нает вызывать все большее беспокойство. Китайское правительство сохраняет жесткую позицию по отношению к сопротивлению этнических меньшинств, наподобие уйгуров в провинции Синьцзян и народов вроде тибетцев, которые обладают своей национальной идентичностью и собственными устремлениями и вряд ли могут быть названы простым этническим меньшинством. И хотя этот вопрос все более остро встает на повестку дня в современном Китае, он меркнет при сравнении с другими бывшими империями, наподобие Австро-Венгрии, распад которой — не без участия националистов — способствовал началу Первой мировой войны, и Советского Союза, крах которого привел к многим сегодняшним националистическим конфликтам.

На самом ли деле одни нации «РЕАЛЬНЕЕ» других?

Как мы видели во введении, ни одно определение нации так и не стало общепринятым (*Smith* 1973, 1983; *Seton-Watson* 1977; *Alter* 1989; *Connor* 1994). Это объясняется тем, что курс национализма тесно связан с практическими проблемами современной политики. Идеи нации, национальности и т. д. «спорны по своей сути», потому что каждое конкретное определение предоставляет привилегии одним общностям, интересам и идентичностям и дискредитирует требования других (о «спорных по своей сути понятиях» см.: *Gallie* 1967; *Connolly* 1974). Рассмотрим, например, идею о том, что нация по определению должна быть достаточно крупной, чтобы быть независимой и самодостаточной. Кто скажет, какой именно должна быть величина? Разве Лихтенштейн не нация? А Республика Палау? Сталин использовал этот довод против притязаний различных «национальностей» в Со-

ветском Союзе. Некоторые из них теперь играют ведущую роль в государствах, которые признаны Организацией Объединенных Наций. И какое национальное государство в современной глобальной экономике (и международных оборонных связях) полностью независимо и самодостаточно? Считается ли Норвегия нацией, даже если она мала, только потому, что нефть из Северного моря делает ее богатой? Станет ли Эритрея, близкая по численности населения к Норвегии, считаться ею, если она тоже найдет нефть? Нет никаких объективных критериев, позволяющих называть нации «реальными» на основе потенциала для политической или экономической независимости.

Статус нации, таким образом, невозможно определить объективно, до политических процессов, на культурных или социально-структурных основаниях. Это так, потому что нации отчасти создаются национализмом. Они существуют только тогда, когда их члены представляют себя посредством дискурсивной структуры национальной идентичностью, и они обычно создаются в борьбе, которую ведут отдельные члены создаваемой нации за то, чтобы заставить других признать свою подлинную национальность и предоставить им автономию или другие права. Здесь важно понимать, что нации существуют только в контексте национализма. «Нация» — это особый образ осмысления того, что значит быть народом и как народ может входить в более широкую мировую систему. Националистический образ мысли и речи помогает создавать нации. Нет никакого объективного критерия для определения того, что же такое нация. Не существует никаких признаков, достаточно независимых от заявлений, которые делаются от имени предполагаемых наций, и нет политических процессов, которые способны подтвердить или опровергнуть их существование. Конечно,

это не мешает многим политическим участникам и некоторым социологам заниматься выдумыванием признаков «полноценных», «реальных» или «исторических» наций.

Много копий было сломано по вопросу о различии между «нацией» и «национальностью». Сталин среди прочих подходил к нему так, словно речь шла об объективных вещах. Он отстаивал идею о том, что национальные права нужно предоставлять только в том случае, если народ имел общий характер, язык, территорию, экономическую жизнь и психический склад (*Сталин* 1936). Полноценные нации обладали всеми этими чертами, и нация, таким образом, составляла целостность. Простые национальности разделяли только некоторые из этих черт. Другой марксист, австриец Отто Бауэр, придавал особое значение понятию «общности судьбы». «Нация это вся совокупность людей, связанных в общность характера на почве общности судьбы... *Вся совокупность*—это отличает нацию от более тесных групповых общностей внутри нации, никогда не образующих самостоятельных естественных и культурных общностей, а находящихся, напротив, в тесном общении со всей нацией и разделяющих поэтому ее судьбы» (*Бауэр* 2002: 88–89). Но акцент на совокупности ясно дает понять, что отличие нации от менее целостных групп является неизбежно политическим. На кону стоит право на самоопределение или вхождение в состав некой другой нации.

Вопрос об этом различии возникал в контексте различных империй. И, несмотря на признание имперского правления, некоторые народы—нации—считались цельными сообществами. Так, в Австро-Венгерской империи и австрийцы, и венгры считались нациями, хотя ни Австрия, ни Венгрия не были самостоятельными государствами в собственном смысле слова. При этом они имели право обращаться на-



прямую, как целостности, к императору. Но цыгане и евреи были только национальностями, группами, обладавшими этнической идентичностью, но не имевшими права притязать даже на зависимое государство. Согласно националистической идеологии, разделявшейся элитами, они не имели права выдвигать сопоставимых коллективных требований. Словенцы, поляки, словаки, чехи и т. п. занимали промежуточное положение.

Точно так же в бывшем Советском Союзе множество «наций» лежало в основе различных автономных республик, например, украинцы или армяне. Другие группы, вроде чеченцев, татар и евреев, признавались просто «национальностями». Это означало, что они могли учитываться в переписях и обладать особым политическим статусом или правом на особое отношение, но они были лишены даже номинально автономного политического пространства. Они считались меньшинствами, проживавшими на землях реальных наций, или промежуточными группами, зависимыми от окружающих.

Различие между нацией и национальностью не слишком удобно для социальной науки, но оно было весьма привлекательным для идеологов, которые занимались нациестроительством и рассмотрением притязаний на самоопределение, выдвигавшихся различными народами в бывших империях. Так, например, бывшая эфиопская империя была крайне разнородной в культурном и этническом отношении. Доминирующая этническая группа амхара (мало чем отличавшаяся от русских в царской империи и пришедшем ей на смену Советском Союзе) проводила политику навязывания особенностей своей культуры другим народам в рамках своей империи. Защита и распространение эфиопской национальной идентичности при помощи амхаризации была старой политикой, насильственно проводимой с конца XIX века. Положе-

ние изменилось при правлении императора Хайле Селассие, хотя, называя себя императором, он думал не только о привлекательности старых традиционных титулов, но и об этническом многообразии в своей стране и квазифеодальной системе полунезависимых областей и иерархий знати. При коммунистическом правлении, которое пришло на смену императору, идея о том, что Эфиопия на самом деле была единой нацией, хотя и этнически многообразной, высказывалась с еще большим рвением, а к несогласным применялись еще более жесткие санкции. Правительство боролось с теми, кто требовал автономии для наций, которые оно считало простыми национальностями внутри страны. Эритрейцы требовали независимости на том основании, что они являются подлинной нацией, и долгое время вели гражданскую войну, доказывая обоснованность своих требований. Оромо, напротив, по-прежнему подчинялись властям Аддис-Абебы, хотя конституция Эфиопии 1993 года предоставляла значительную автономию «Оромии» с новыми границами. Некоторые идеологи теоретически объясняли это тем, что оромо были просто «национальностью», тогда как Эфиопия и Эритрея — реальными нациями.

На самом деле нет ничего парадоксального в утверждении, что эритрейская нация была *создана* во многом в ходе самой борьбы за ее независимость<sup>75</sup>. Но проблема была не только в военном успехе. За время своей тридцатилетней борьбы Эритрея стала более социально сплоченной (например, когда представители разных религий и этнических групп сра-

<sup>75</sup> Фанон (*Fanon* 1965) утверждал, что именно через такую кровавую борьбу и *должны* были быть созданы постколониальные нации, потому что только общее кровопролитие способно было создать необходимое единство.

жались бок о бок и выстраивали межличностные отношения), развила более сильную коллективную идентичность, которая глубоко проникла в индивидуальное сознание эритрейцев, и гораздо шире распространила четкую концепцию эритрейскости, основанную на риторике национализма. Вполне возможно, что народ оромо все же докажет существование своей нации и создаст ее в своей собственной борьбе. Как отмечал Карл Дойч (*Deutsch* 1966: 105), «нации становятся нациями, когда они обретают силу для того, чтобы подкрепить свои устремления».

Антиколониальные и антиимперские национализмы зависят от внутренних организационных способностей возможных независимых наций. Их нельзя считать просто попытками защитить или восстановить традиционное устройство, даже если они открыто заявляют об этом как о своей идеологической цели, поскольку они стремятся к новой, национальной форме мобилизации как более или менее необходимой и сопутствующей антиимперской борьбе. Такие антиколониальные движения также часто восставали против своих элит, вступавших в сговор с имперскими державами, как это имело место в движении 30 марта в Корее и движении 4 мая в Китае — в обоих случаях в 1919 году.

И в Корее, и в Китае националистический дискурс оставался во многом сосредоточенным на государстве, хотя движения выступали против традиционных элит и имперских держав. И в обоих случаях предпринимались крайне нерешительные шаги по национальной интеграции вне государственной сферы. В Индии эти усилия были намного более значительными. Индийские националисты в идеологии и на практике отстаивали определение нации в социально-относительных и культурных терминах в противопоставление политическим, которые были монополизированы коло-

ниальным государством (*Chatterjee* 1994). Во всех трех случаях степень материальной (социальные отношения, экономика, инфраструктура) и культурной национальной интеграции оказалась недостаточной для того, чтобы сохранить целостность нации после ухода имперских держав и/или краха продажных внутренних режимов. Разделение Индии и Пакистана (а также более позднее обретение независимости Бангладеш и коммуналистский сепаратизм в Индии), разделение двух Корей и эпоха военных диктаторов в Китае свидетельствовали об ограниченности национальной интеграции, которая могла быть достигнута при противостоянии подавляющей государственной власти. В каждом случае одним из ключевых вызовов государствам после обретения независимости было возобновление борьбы за национальную интеграцию, все больше приравнивавшей нацию к государству.

Если основным источником национализма служит повышение степени национальной интеграции, то также верно, что сепаратистские национализмы часто возникают вследствие провала проектов более широкой национальной интеграции. Показательными примерами служат некоторые восточноевропейские страны и бывший Советский Союз (*Chirot* 1991). Постколониальные государства особенно уязвимы к вызовам со стороны зависимых национальных групп, так как они могут использовать ту же самую риторику, которую использовали антиколониалисты в борьбе за независимость. Именно поэтому дискурс национализма включает и раскольнические или сецессионистские движения, и объединительные или паннационалистические движения (*Snyder* 1982, 1984; *Alter* 1989; *Smith* 1991). Хорватский или украинский национализм и панславистский национализм проистекают из одной и той же дискурсивной формации. Ни сецессиони-

стские национализмы от Индии до Эфиопии, ни попытки воссоединения разделенных наций от Германии до Йемена или Кореи не могут притязать на явное первенство. Попытки создания более сплоченного национального государства часто вызывают противоположные усилия со стороны зависимых групп или соседей. Формирование более широкого единства сопровождается переустройством национальных идентичностей, которые создают новые линии напряженности при преодолении сложившихся. Программы объединения Европы предполагают новые истории, которые подчеркивают общность европейского опыта и идентичности, отличие Европы от остального мира, нежели отличие Франции от Англии и Нидерландов. В то же самое время в Европейском Сообществе нет недостатка в периферийных националистических движениях и требованиях региональной автономии (*Tiryakian and Rogowski 1985; Delanty 1995; Kupchan 1995; Brubaker 1996; Guibernau 1996*).

Дискурс национализма может в равной степени использоваться для объединения или разделения. Основное внимание уделяется в нем вопросу соответствия государства предположительно ранее существовавшей нации; масштаб национальной единицы не определяется *формой* националистического дискурса. Его содержание определяется в значительной степени отношениями национальной интеграции, культурной традицией и противопоставлением другим государствам в мировой системе. Было бы ошибкой отдавать предпочтение какой-то одной составляющей, исключая другие.

## 6. ИМПЕРИАЛИЗМ, КОЛОНИАЛИЗМ И МИРОВАЯ СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ

Имперское правление уж точно *не было* попыткой создания единства между нацией и государством<sup>76</sup>. В Австро-Венгерской империи конца XIX века, например, несмотря на поддержку этой идеи некоторыми их советниками, Габсбурги не пытались объединить свои владения в современное национальное государство. То есть они не стали относиться к своим подданным как к более или менее взаимозаменяемым членам государства, навязывать языковое единообразие, создавать инфраструктуру, облегчающую коммуникацию и торговлю по всей империи, заменять нарративы завоевания нарративами примордиальной этнической общности или обосновывать притязания на легитимность ин-

<sup>76</sup> Несмотря на определенно имперский масштаб своих владений, «императоры» Китая — в той степени, в какой они были заинтересованы в создании единства между нацией и государством, — неверно описывались при помощи этого западного термина; у них было больше сходств с абсолютистскими монархами вроде Луи XIV, чем с императором Священной Римской империи или его римскими предшественниками.

тересами или волей «народа». Имперское правление, как они его понимали, оставляло местные и этнические группы почти нетронутыми. Когда такие империи приходили в упадок, эти местные группы никуда не исчезали и иногда получали или восстанавливали значительную автономию. Но только в современную эпоху риторика национализма стала использоваться для превращения этих местных и этнических групп в нации.

На территориях клонящейся к упадку Австро-Венгерской империи националистический дискурс широко применялся в борьбе против старого имперского государства. В нем нашли свое отражение и ранние культурные различия, и — что, возможно, более важно — способ, которым сами Габсбурги делили свои владения на административно-территориальные единицы<sup>77</sup>. Но национализм в смысле идентичности или движения не возникал самопроизвольно из каких-либо предпосылок: он формировался активным вмешательством культурных производителей и политических лидеров. В случае с Австро-Венгрией было бы ошибкой описывать такие складывающиеся националистические элиты в качестве «традиционных лидеров». Напротив, националисты зачастую были представителями подчиненных этнических или региональных групп, получившими образование в имперской столице, служившими в имперской бюрократии или как-то иначе связанными с имперской системой. Это позволило им более широко взглянуть на положение своей «родины» или

<sup>77</sup> Mann (1993); обобщая, Манн замечает: «...мы не можем предсказать, какие нации успешно появятся на основе простой “этничности”. Присутствие или отсутствие региональной администрации служит намного лучшим прогнозирующим параметром» (Mann 1995: 49–50).

«народов» и получить доступ к международному дискурсу национализма. Зачастую пренебрежительное отношение к ним или ограничение их карьеры в имперском аппарате давало стимул сосредоточить больше внимания на националистических проектах. Хотя такие лидеры, подобно многим из нас, обычно были движимы своекорыстными интересами, эти интересы были не только политическими. Большую работу по созданию национальной идентичности проделали также художники, музыканты, писатели и интеллектуалы. Они стремились не столько к политической власти, сколько к культурному признанию — и культурному полю, позволяющему наслаждаться этим признанием. Другие элиты, конечно, были больше заинтересованы в достижении власти в недавно ставших независимыми национальных государствах. Они считали националистическую риторику действенным инструментом для мобилизации и готовой структурой для выдвижения требований международного признания.

Андерсон считал одним из основных источников всего дискурса национализма фрустрацию и солидарность более раннего поколения колониальных элит (Андерсон 2001: Гл. 4). Испанская колонизация Латинской Америки создала особую карьерную модель, которая привела к ранним националистическим выступлениям против существовавших властей. Испанская Америка была разделена на множество административно-территориальных единиц. Высшие чиновники обычно присылались из Испании (и стремились вернуться, чтобы занять более высокий пост у себя в стране). Но ниже существовал целый корпус креольских чиновников. Они были испанцами по происхождению, языку и главным образом культуре. Но они родились здесь. Они не могли «вернуться» в Испанию. Их карьеры упирались в «потолок», выше которого они не могли подняться; это напоминало им



об отличии, хотя и не слишком значительном в культурном отношении, от «настоящих» испанцев, стоявших над ними. И, что еще более важно, их карьерные возможности были ограничены в горизонтальном отношении. Хотя некоторые выходцы из Испании могли перемещаться из одной колонии в другую, креолы могли занимать посты только в той колонии, где они родились, скажем в Мексике или Чили. Это способствовало идентификации с этой административно-территориальной единицей как своеобразной родиной. Поэтому в отличие от землевладельцев — феодальных или иных, которые, как правило, оставались на одном месте, привязанные к своей местности и своей земле, эти креольские колониальные чиновники перемещались с места на место внутри колонии. Наиболее выдающиеся из них заканчивали свою карьеру в столице, независимо от места своего рождения, и обычно были знакомы со страной лучше представителей других элитарных групп. Будучи образованной элитой, эти чиновники также могли участвовать в печатном общении, которое в конечном итоге стало культурной основой для национального объединения.

Все это привело к тому, что первые националистические революции в мире были возглавлены представителями привилегированных элит, говорившими на одном языке и имевшими одну религию с теми, чьему правлению они бросали вызов. С точки зрения Андерсона, не в имперской метрополии, а в колониях люди впервые стали считать себя представителями особых национальностей, а не просто подданными монархов, носителями языков и т.д. Но, однажды начав свое развитие, идея нации, которая вошла в космополитический дискурс, в конечном итоге заполонила европейскую мысль и радикальную политику XVIII–XIX веков и антиколониальный национализм во всем мире.

В то же время испанский случай креольской элиты был несколько нетипичным, так как национализм обычно возникал среди элит, которые оставались привилегированными при колониальном правлении, но сталкивались с невозможностью осуществления своих замыслов. В большинстве стран мира новые элиты состояли из местных жителей, получивших образование в колониях или даже метрополиях (*Markakis 1987; Brass 1991; Davidson 1992*). Отношения у этих новых элит с уже сложившимися не всегда были равными. Они были одними, когда, к примеру, в XIX веке харизматичный традиционалист Махди возглавил крупное восстание в Британском Судане. Но в XX веке его потомок Садык эль-Махди, будущий исламистский премьер-министр, получил образование в Оксфорде. Его семья и многие представители среднего класса имели колониальное образование и выказывали антиколониальные настроения. Колониализм пренебрежительно относился к традиционным наследственным элитам, даже если за ними сохранялось множество привилегий, и препятствовал вертикальной мобильности, возможной на основе образования, полученного в метрополии или близкого к нему, и других подобных меритократических механизмов отбора. И эти элиты среди колониального населения зачастую признавали обращение к идее нации наиболее подходящей для себя стратегией. Это означало отождествление себя со своими соотечественниками, принадлежавшими ко всем классам, несмотря на гордость своим традиционным статусом и новым образованием. В частном порядке они могли презирать своих простых соотечественников, но при этом они открыто объявляли крестьян и остальных представителями одной нации, угнетаемой имперской державой и достойной самоопределения. Залогом успеха этой стратегии было создание элитой тесных связей с крестья-

нами и другими представителями неэлиты и искреннего чувства солидарности с ними. Обращение Садыка ко все более «фундаменталистскому» исламу было продиктовано его стремлением к созданию таких связей.

Этим элитам не нужно было изобретать дискурс национализма с нуля. Как утверждал Андерсон, он носил «модульный» характер и мог переноситься из одной среды в другую. На самом деле, возможно, правильнее будет сказать, что дискурс национализма был доступен как международный дискурс, и новые группы людей могли принимать его, участвовать в нем и даже видоизменять его. Так, когда традиционные элиты, отодвинутые на второй план колониальными властями, использовали дискурс национализма, чтобы выразить свое неприятие колониального правления, они новаторским образом сочетали местные традиции и международную риторику, преобразуя и местные, и международные идеи. Например, под влиянием риторики национализма местные элиты в Индии, Китае, Гане и Индонезии усвоили идею о том, что легитимность должна основываться на воле тех, кем правят. Это обозначило сдвиг (в различной степени) в местных дискурсах легитимности. В то же самое время в каждой среде антиколониальные элиты строили национализм по-своему, опираясь на общий международный дискурс. Они вносили в него нечто новое, они использовали различные местные особенности, и они боролись друг с другом за понимание того, каким должно было быть сочетание местной традиции, международного дискурса и нововведений<sup>78</sup>.

<sup>78</sup> Эритрея — сложный, но показательный случай. Эфиопская и исламская культуры веками боролись друг с другом на земле, занимаемой ныне Эритреей. Гористая местность страны ближе к христианским элитам Эфиопии, а низменности были преимущест-

Метафора «модульности» может ввести в заблуждение. Она предполагает, что элементы международного дискурса могут переноситься без серьезного изменения из одной культурной среды в другую. Это не позволяет увидеть более сложное взаимодействие между каждой местной культурой

венно исламскими и включенными благодаря торговле в более широкий спектр международных влияний. С конца XIX века итальянское колониальное правление наделило страну территориальной определенностью и внутренней сплоченностью. Несмотря на некоторое сопротивление итальянцам, эритрейский национализм стал серьезным движением только после Второй мировой войны, когда Эфиопия провела успешную кампанию по присвоению колонии поверженной Италии. Эфиопия претендовала на Эритрею, ссылаясь на исторические связи (преимущественно с горными областями), но на самом деле стремилась к власти в основном из-за эритрейских портов (находящихся в низине). Тогда эритрейские националисты состояли главным образом из мусульман и находились под влиянием международного дискурса арабского национализма. Позднее правители Эфиопии начали переход от более традиционной империи к национализму, который, однако, предполагал навязывание амхарского языка — языка правящей элитарной этнической группы остальной стране, включая Эритрею. Когда наряду с остальными был запрещен и язык тигринья — язык эритрейских христиан, проживавших в гористой местности, а сами они столкнулись с дискриминацией и деспотическим военным правлением, националистическое движение, которое раньше состояло в основном из мусульман, пополнилось новыми членами. Сближение этих двух групп на протяжении тридцатилетней войны за независимость способствовало созданию нового, более широкого чувства национальной идентичности. См.: *Markakis* (1987); *Iyob* (1995).

и международным дискурсом, а также противоречия внутри каждой такой культурной области<sup>79</sup>. В результате, оказывается забытым тот факт, что на развитие антиколониального национализма повлияли не только дискурс, идеология и традиция, но и властные отношения и социальная структура. Особые националистические идеологии развивались (и развиваются) в контексте борьбы и практической деятельности, и они вовсе не были абстрактными. Ошибочно считать, что каждое националистическое движение изобретало свой национализм заново, целиком из местных культурных и политических источников. Тем не менее при рассмотрении международного измерения националистического дискурса нам следует избегать представления о том, что поздние национализмы являются простыми производными более ранних и что они никак не укоренены в местных условиях и опыте (*Chatterjee* 1986). Международная доступность дискурсивной формы национализма не означает, что каждое последующее использование этой формы обязательно вторично — с пейоративными коннотациями этого слова — оно не более вторично, чем каждое последующее использование литературной формы романа.

Колониализм привел к появлению национализма, несмотря на свое противодействие этому. В большинстве случаев наличие и влияние колониального режима способствовало утверждению или развитию национальной

<sup>79</sup> Было бы ошибкой писать о «культуре» так, словно речь идет об отдельных и относительно замкнутых индивидуальных культурах, но я надеюсь, что читатель поймет, что я не имею в виду ничего подобного. О проблемах, связанных с понятием простого «переноса» в культурах или модульности дискурсивных формаций, см.: *Calhoun* (1995: Ch. 2).

идентичности в качестве противовеса или основы для сопротивления. Во многих случаях колониальная идеология также способствовала развитию национализма своими заявлениями о том, что колонизированные изначально враждебно относились друг к другу (если бы не мир, поддерживаемый колонизаторами) и были неспособны к самоорганизации. Национализм был зримым опровержением этого и в ряде случаев способствовал возникновению способности к самоорганизации в более крупном масштабе<sup>80</sup>.

<sup>80</sup> Идея о том, что незападные народы третьего мира неспособны к самоуправлению посредством национальных государств, получила широкое распространение наряду с представлением о том, что эти «неразвитые» страны нуждались во внешней опеке в течение какого-то времени (*Blaut 1987*). Эта идея присутствовала не только в отрытых колониальных идеологиях, но и в теории модернизации и даже в какой-то степени в отношении русских к азиатским народам Советского Союза. Чаттерджи (*Chatterjee 1986, 1994*) рассматривает этот аспект колониальной идеологии и националистического ответа в контексте индийской истории. Тезис о разобщенности кажется более обоснованным в случае Индии и различных африканских колоний, чем, например, в случае Китая. Тем не менее, хотя западные империалисты в Китае даже столкнулись с местным имперским режимом, способным организовать управление в отдаленных провинциях, тема местной разобщенности и неспособности к самоорганизации все равно присутствовала. Этому способствовали разные крестьянские восстания XIX века, в том числе тайпинов, и внутренние конфликты между элитами в последние годы существования династии Цинь (в том числе между ханьскими китайцами и их маньчжурскими правителями). При республиканском и военном правлении после 1911 года реальность

По мере организации мира в систему государств колониальное правление становилось все более несостоятельным. Независимо от трудностей, связанных с приобретением международного влияния или с внутренней самоорганизацией, обе возможности существенно ограничивали тех, кто мог выдвинуть успешные притязания на суверенитет. Независимо от того, к какой форме правления они на самом деле стремились, независимо от степени элитарности антиколониалистов и их программы антиколониального правления, их притязания на суверенитет по определению исходили «снизу» — от «народа», а не сверху — от правителей. Национализм был и по сей день остается наиболее доступной дискурсивной формой для выдвижения таких притязаний. Несмотря на заимствования из международного дискурса, сама колониальная ситуация ведет к его местному переизобретению и усилению.

Основная тема антиколониального национализма — создание гражданства. Это помогает понять, почему деятельность ранних националистов во многом была сосредоточена не на соперничающей государственной власти, а на усилиях по преобразованию культуры, уничтожению традиционных форм семейной и общинной преданности и созданию «нового человека», сочетающего в себе западный индивидуализм с явно местным культурным содержанием. Пытаясь

внутреннего раскола и ослабления оказала огромное влияние на китайский национализм и взгляды империалистов. Кроме того, такое сочетание империалистической идеологии и внутренних проблем могло соединяться с давним страхом перед хаосом и верой в единство, усиливавшей националистическое стремление к созданию унитарного, а не федеративного Китая. См. об этом: *Duara* (1988, 1992).

объяснить силу имперских держав и доказывая важность местной национальной культуры, многие антиколониальные национализмы создавали и воссоздавали раскол между духовной и материальной жизнью. В материальной области военная и техническая мощь иностранных держав была очевидна. В духовной области можно было превозносить моральную и культурную силу подчиненной нации. Так, известная китайская формула *тиянь* гласила: китайское учение — для духа; западное учение — для практического использования (*Chow 1960; Spence 1990*). В Индии националистическая идеология провозгласила «область духовного своей суверенной территорией» и стремилась не допустить колониального вмешательства в нее (*Чаттерджи 2002: 287*).

На самом деле, как утверждали индийские националисты в конце XIX века, суть заключалась не просто в нежелании подражать Западу в чем-либо, кроме материальных аспектов жизни, — этого не нужно было делать потому, что в духовной области Восток превосходил Запад. Нужно было культивировать материальные практики современной западной цивилизации, сохраняя и укрепляя особую духовную сущность национальной культуры.

(*Chatterjee 1994: 133*)

Такое обоснование избирательной вестернизации присутствует в программе националистической модернизации Индии и Китая даже сегодня, несмотря на серьезные изменения, произошедшие в каждой из этих стран. Оно повлияло, например, на проведение некоторых капиталистических реформ Дэн Сяопина, когда одновременно осуждалась духовная грязь, которую несла с собой вестернизация.

Индийские интеллектуалы в XIX веке были не менее космополитичными, чем европейцы. Но космополитизм был



проблематичным в контексте колониального правления, так как он не касался европейских просветителей. Многим индийским националистам, включая Неру, писать и говорить по-английски было проще, чем на любом из «индийских» языков; по сути, они способствовали превращению английского языка в индийский. Но в результате возникало противоречие между английским языком как языком колонизаторов и как предполагаемым *lingua franca*, который должен быть помочь созданию единой нации, ослабляя языковые разногласия на субконтиненте. К тому же, пока одни националисты делали английский язык индийским, другие занимались возрождением современных индийских языков вроде бенгали и маратхи; национализм означал создание новой, современной литературы на народных языках. Это повлияло на стремление создать единство между языком литературы и интеллектуалов и языком простых людей, так как группы, прежде разделенные языковой иерархией, теперь должны были быть объединены *национальным* языком. Китайские интеллектуалы преследовали схожую цель в начале XX века, и это также повлияло на последующие действия коммунистической партии.

Хотя многое из этого явно было ответной реакцией на колониализм, западная история также связана с борьбой за культурную идентичность и создание граждан<sup>81</sup>. Даже

<sup>81</sup> Чаттерджи иногда пишет так, словно развитие идеи «нации» в западной мысли оставалось более тесно связанным с областью специфически политического дискурса, чем это было на самом деле. Так, он утверждает, что «вытеснение в современной европейской социальной теории независимого нарратива сообщества... делает возможным как проведение различия между государством и гражданским обществом, так и стирание этого различия» (*Chatterjee*

у Гоббса обоснование абсолютного суверенитета королей, как мы видели, требовало прежде всего объединения граждан — нации, способного предоставить право править посредством явного или неявного общественного договора. Эти граждане, по необходимости, не только были взаимозаменяемыми представителями нации, то есть индивидами, но и участвовали в общих проектах, опосредованных сетями коммуникации.

В этом состоит решающее различие между империей и национальным государством или, как заметил Уэйнтрауб, между космополитическим городом и полисом. Создание политического сообщества требовало нового типа взаимосвязи и чего-то большего, нежели соблюдение простого правила «живи и дай жить другим». В космополисе или империи, поскольку «разнородные массы не были гражданами, они могли вести аполитичное существование и каждый мог делать все, что ему заблагорассудится, не обсуждая этого со своими со-

1994: 283). Однако это слишком большое обобщение, поскольку нарратив сообщества получил широкое распространение и стал необходимой составляющей европейской социальной теории. Но до недавнего появления «коммунитаризма» в этом как раз и состояло основное отличие *социальной* теории от теории политической, особенно в англоязычной литературе. Политическая теория часто оставляла без внимания сообщества, отличные от нации (общего сообщества), описывая вместо этого отношения между индивидами и государствами. В политической теории не было сколько-нибудь серьезного описания социальной интеграции, не связанной с государством; это сделало возможным недавнее «повторное открытие» гражданского общества как темы либеральной политической теории (см., например: Коэн и Арато 2003).

седами» (*Weintraub* 1997). И в полисе, и в современном национальном государстве принадлежность к общему государству требует не только терпимости и общего подчинения внешнему суверену: она требует взаимного общения.

Современные государства возникли как основные арены для народного политического участия (и в некоторых случаях — для создания демократических институтов). На самом деле именно потому, что современные государства опирались на граждан, а не на подданных культурная политика в них была сопряжена с таким насилием. Исторические империи без большого труда обеспечивали представителям различных этнических групп возможность жить рядом в мире. Внутри и вокруг столицы Османской империи — Стамбула жили и торговали друг с другом евреи, христиане и мусульмане. Но жить в мире было не слишком сложно, потому что различные группы не участвовали в общем обсуждении политических и общественных вопросов; султан совещался с представителями различных этнических групп, но не с простыми людьми. Хотя члены различных групп могли призываться в его армии, эти армии не были гражданскими, и ни о какой массовой мобилизации речи не шло. Точно так же, хотя Османская империя, как и другие империи, поддерживала мир, жизненно важный для торговли на большие расстояния, она по большому счету не заботилась о реальной экономической интеграции своих территорий. Она не меняла, к примеру, разделение труда и не осуществляла серьезных технических новаций. Поэтому большинство различных общин и народов под властью Османов продолжало заниматься своей традиционной и преимущественно локальной экономической деятельностью. Купцы в метрополии вели торговлю на большие расстояния в основном предметами роскоши. В противном случае различ-

ные страны оставались более или менее обособленным локальными экономиками. Даже в такой стране, как Британия, такое положение сохранялось до наступления промышленной революции (включая резкий рост сельскохозяйственного и ремесленного производства, непосредственно предшествовавший фабричному производству). Существовало некоторое региональное разделение труда, обусловленное различиями в богатстве полезными ископаемыми, плодородности земли и специализации местных ремесленников. Но рынками были физические места, куда местные жители приходили торговать с другими местными жителями; только относительно специализированные товары производились для национального потребления.

Развитие институтов и арен для осуществления общей политики по иронии судьбы зачастую вело к появлению идеологий, требовавших повышения однородности среди граждан. Различия, которые не имели такого значения, когда простые люди не вправе были принимать политические решения, по мере роста демократизации стали вызывать все большее беспокойство. Распространение национальных средств коммуникации — важное для демократии — также может облегчить стирание различий между гражданами. Один из ключевых вопросов современной эпохи заключается в том, насколько возможно достижение осмысленного, политически действенного публичного дискурса без такого стирания (*Eley* 1992; *Fraser* 1992). К различиям, которые обычно стремится подчинить себе националистический дискурс, относятся гендер, класс, а также область, происхождение и другие возможные основания для контрнационалистической сессии.

Хотя националистические самоописания, как правило, придают особое значение массовому участию и межклас-

совому единству, национализм зачастую остается элитарным проектом, структурированным таким образом, который поддерживает или создает модели господства. И это как нельзя более применимо к тем постколониальным государствам, которые это громче всех отрицают. Как отмечает Маркакис, «антиколониальный национализм не был, как его часто представляют, массовым народным походом, движимым желанием уничтожить все, что было создано империализмом. На самом деле его сторонники были социально ограничены, а цели — конкретны» (*Markakis* 1987: 70). Национализм обычно был проектом групп, связанных с колониальным государством и деловыми кругами в колониальной экономике. На самом деле национализм зачастую раньше всего возникал среди тех, кто получил образование (или имел хотя бы какой-то опыт пребывания) в имперских метрополиях. Тем не менее, поскольку антиколониальные националисты бросили вызов легитимности колониального правления на том основании, что оно не представляло местный народ (как общую категорию, а только его элиту), они смогли заложить риторические основы для более широких притязаний на политическое участие и реструктуризацию. В то же самое время социальные отношения, создаваемые элитой с представителями других слоев общества, и «модернизационные» проекты образовательных и социальных реформ, которые они проводили в «массах», зачастую вели как раз к «демассификации» простого народа. Там, где колониалисты отстаивали необходимость своей власти для поддержания мира и обеспечения экономического прогресса, местные элиты стремились создать или показать существование местной нации, соответствующей требованиям современной эпохи (*Davidson* 1992). При этом они предоставляли простому народу более серьезные средства

мобилизации для осуществления своих собственных проектов в соперничестве с проектами изначальных националистических элит. Например, при благоприятных условиях классовые требования могли быть поддержаны националистами, когда они были направлены против колониальных или международных империалистов. После обретения независимости они становились более проблематичными.

Требования со стороны женщин зачастую были особенно проблематичными для антиколониальных националистических групп по двум причинам. Во-первых, западные колониальные державы часто кивали на «традиционное» отношение к женщинам как на свидетельство неизбежно репрессивного характера всей культурной традиции колонизированных, указывая тем самым на достоинства колониального правления как модернизации. Поднятие женского вопроса легко могло показаться антинационализмом. Во-вторых, попытки защиты «духовной сущности» нации, часто связанные с подчеркиванием национальной идентичности, находили в социальной жизни нечто внеположное по отношению к области экономики и государственного управления. Дом, семья и гендерные отношения считались особенно национальными, и попытки введения новых форм занятости для женщин и других предполагаемых «свобод» казались агрессией. Ношение хиджаба в Алжире стало сложным средоточием колониальных противоречий с Францией. Как выразился Фанон (*Fanon* 1965: 65), «хиджаб носили потому, что традиция требовала четкого разделения полов, но также и потому, что оккупант *стремился сорвать хиджаб с Алжира*». Колонизаторы представляли себя в качестве сторонников модернизации и освобождения женщин, бросая вызов хиджабу; многие алжирцы понимали это не только как нападение на привилегированное положение мужчины, но и как

нападение на традиционную культуру, женскую скромность и достоинство и на сам ислам:

Господствующая администрация... описывала огромные возможности женщины, к несчастью, превращенной алжирским мужчиной в инертный, обесцененный, по сути, дегуманизированный объект. Поведение алжирцев жестко осуждалось и описывалось как средневековое и варварское... Вокруг семейной жизни алжирца оккупант нагромоздил целую кучу суждений, оценок, доводов, бородатых анекдотов и поучительных примеров, пытаясь тем самым сделать алжирца виноватым со всех сторон.

(*Fanon* 1965: 38)

Анализ этого противоречия у Фанона, возможно, недостаточно критичен по отношению к патриархальному измерению хиджаба, включая утверждение о том, что алжирские женщины нуждались в «защите и поддержке», но он проливает свет на новую диалектику «тела и мира» (*Fanon* 1965: 59), проявившуюся тогда, когда свобода или «защита» и «дисциплина» женских тел стали предметом спора между алжирскими националистами и франкоязычными модернизаторами, которые были к тому же колониалистами<sup>82</sup>. Как отмечает Фанон, женщины, участвовавшие в освободительной борьбе, сбросили с себя хиджаб так же быстро, как и надели его во время французского господства над социальной жизнью. Но существовала «динамика хиджаба», которая не осознавалась теми, кто считал ее простым олицетворением патриархальной традиции, не замечая того, как

<sup>82</sup> О схожих проблемах в контексте того же международного движения «негритюда», хотя и со значительно менее критичным взглядом на гендер и патриархальность см.: *Cesaire* (1955).

она могла использоваться в политических целях. Это проливает свет на недавнюю борьбу во Франции по поводу ношения хиджабов школьницами-мусульманками. Независимо от качества доводов за и против секуляризма или религиозных идентичностей необходимо отметить, что государство вовсе не было нейтральным, а представляло собой действующую силу французского национализма и решало проблемы, связанные с историей колониализма и антиколониальной борьбы. Вообще, это выходит за рамки простых рассуждений о патриархальности и склонности националистических движений подтверждать маскулинные практики, укорененные в традиционных культурах (см. также: *Chatterjee* 1994).

Даже вне этих специфических контекстов национализмы были в большинстве своем мужскими идеологиями, не просто в том смысле, что мужчины были бóльшими националистами, чем женщины, а скорее в том, что национальная сила также часто определялась как международное могущество и военная мощь; мужчины считались потенциальными мучениками, а женщины — их матерями. Именно в своем содержании — милитаризм и патриархальная традиционная культура — национализмы были особенно сексистскими. Формально обращение националистов к равнозначности индивидуальных членов нации позволяла женщинам притязать на более широкие права, что и происходило во многих странах мира, причем не только на Западе. Но националистическая риторика также придавала особое значение производству потомства, рассуждениям о будущем нации в воспроизводстве или росте ее населения. Это одна из причин того, почему изнасилование было настолько распространенным преступлением среди сербских националистов, обещавших тех, кого они желали изгнать с территории, на которую они притязали в Боснии. Этот ге-



теросексизм также связывает национализм с подавлением гомосексуальности и со сведением секса к средству зачатия детей — во имя нации.

«Модернизационный» потенциал национализма заключается также в том, что он содействует развитию индивидуализма (который может, хотя и не обязательно должен быть связан с представлением о том, что индивиды являются носителями прав), даже если он может подавлять сильные индивидуальные различия. Так, индийский национализм, к примеру, пытался создать исторический нарратив индийского единства, но считал самих индивидов непосредственно индийцами, а не представителями различных языковых или региональных групп, каст и т.д.<sup>83</sup>

<sup>83</sup> Как показывает Чаттерджи (*Chatterjee* 1994), термин *джати* мог быть мобилизован для подчеркивания индийского или индуистского как основного «вида», в который входила личность, а не только специфические и иерархически организованные категории, связываемые с термином «каста». Каста сама по себе во многом кажется категориальной идентичностью, частью классификационной схемы, которая рассматривает индивидов дискретно. Индия, таким образом, не была такой «чуждой» западным вариантам категориальных идентичностей и индивидов, как иногда говорят. В то же время многие западные наблюдатели искажают действительные практики, когда они подходят к касте так, словно она является единственной схемой классификации, холистически интегрированной на общеиндийском уровне (они, сами того не замечая, привносят националистическое сознание). Каста должна также отсылать ко множеству местных практик и объединений, гораздо более относительных (родство) и менее четко интегрированных в надлокальную, национальную схему классификации, чем принято обычно считать. (Я признаю-

В Китае коммунистическая идеология также была по своей сути националистической (еще сильнее, чем у Гоминьдана) и требовала прямой и неопосредованной верности каждого индивида, оспаривая независимые притязания родителей на детей (вспомним печально известные события, связанные с «культурной революцией»). Как было отмечено выше, современный исламский национализм, хотя и является «фундаменталистским» и «традиционным» по своему содержанию, во многом разделяет одну дискурсивную форму. Он действует как категориальная идентичность, которая устанавливает прямую связь между отдельным мусульманином и особой исламской нацией и уммой ислама. Отчасти это делает фундаменталистский ислам такой серьезной угрозой различным, формально более традиционным правительствам, вроде монархий стран Персидского залива. Эти арабские государства точно не являются националистическими и организованными вокруг современных идей гражданства. Кувейтом правит эмир, глава монаршего рода в кровнородственной группе, включающей меньшинство жителей подвластных ему земель и еще меньше тех, кто занят в материальном производстве или сфере услуг. И иракский баасистский национализм, и более широкий исламский национализм, провозглашенный Ираном, отталкиваются от идеи всеобщего гражданства, по крайней мере для мужчин. И тот, и другой позволяют индивидам участвовать в выборах, чего решительно не делает Кувейт. Фундаменталистский ислам и родственные национализмы предлагают идеологию, намного более близкую в этом отношении к идеологии Великой французской революции,

лен Ли Шлезингер за обсуждение этой идеи и возможность прочесть неопубликованные работы.)

чем обычно считают носители общих стереотипов, противопоставляющие западное Просвещение фундаменталистской религии вообще и исламскому Востоку в частности. Во всех этих случаях националистический дискурс обычно связан с требованием покорности, а не только с предложением членства. Он потенциально репрессивен по отношению ко всем, кто занимает подчиненное положение в идеально-типическом представлении о нации. Но он также способствует созданию отдельных граждан.

## КАПИТАЛИЗМ

### И КРУПНОМАСШТАБНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Создание мировой системы государств было неразрывно связано с экспансией капитализма (*Wallerstein 1974–1988*). Государство не только содействовало этой экспансии, но и было ответом на нее (*Anderson 1974; Kennedy 1987*). И стремление к участию в глобальном рынке, и стремление к автаркии требовало сильных государств. Государства опосредовали деятельность в глобальной рыночной системе (и направляли процесс накопления капитала), даже если с самого начала этот глобальный рынок превосходил государства.

Капитализм, как утверждал Маркс (*Маркс 1960*), вырывал индивидов из важных общинных уз и объявлял их свободными. Конечно, свобода была иллюзорной: люди оказывались зависимыми от сил вроде глобальных рынков, действующих в очень большом масштабе и подчиняющих этих индивидов не только как членов общин. Опора на крупномасштабные категориальные идентичности вроде нации отчасти стала ответом на разворачивавшиеся события. Кроме того, этот глобальный порядок оказался подвержен-

ным повторяющимся глобальным кризисам и созданию локализованных кризисов, каждый из которых мог привести к использованию не слишком приглядного националистического дискурса и насилия во имя национального очищения. Ужасы Руанды и Бурунди были вызваны различными международными факторами, включая немыслимые колебания цен на кофе и другие товары; ужасы бывшей Югославии стали отражением не только краха коммунизма, но и экономического кризиса.

Капитализм сам по себе зависел и постоянно вел к росту распространения крупномасштабных и непрямых социальных отношений. Капитализм все время выходил за пределы локальных рынков, создавал конкурентное давление во всем мире и требовал координации постоянно растущих запасов сырья и рабочей силы—еще до того, как порождение все большего потребительского спроса стало навязчивой идеей. Нация стала внутренним рынком, другие нации стали международными конкурентами или клиентами<sup>84</sup>. Глобализация, вызванная капитализмом, также привела к огромной трудовой миграции. Политические и экономические факторы переплетались между собой, поскольку мигранты часто бежали от националистической борьбы, а их попадание в но-

<sup>84</sup> Хотя капитализм и был причиной такой внутренней интеграции и поддержания границ, он не навязывал себя ни в национальной форме, ни в виде какой-то определенной нации. «Расширение торгового обмена не способно объяснить создание современной нации; хотя оно показывает необходимость объединения так называемого внутреннего рынка и устранения препятствий для обращения товаров и капитала, оно ни в коей мере не объясняет, почему это объединение происходит именно на уровне нации» (Poulantzas 1980: 105–106).

вую среду способствовало ксенофобской националистической реакции.

Капитализм — это главная движущая сила экспансии глобальных взаимосвязей и крупномасштабной организации в целом. Но в отличие от формирования государства его воздействие на национализм не было прямым. Во-первых, капитализм сыграл важную роль в создании настолько больших и сложных систем, что местные общины и другие объединения, созданные на основе прямых межличностных отношений, не способны были обеспечить защиту большинству людей. Во-вторых, капитализм разрушал общинные, родственные и иные формы социальной организации, основанные сетях прямых межличностных отношений (не упраздняя их, но ослабляя их способность служить основными составляющими крупномасштабной социальной организации). В-третьих, капитализм способствовал развитию индивидуализма, превращая людей прежде всего в частных собственников или продавцов рабочей силы. Идея нации наиболее важна среди категориальных идентичностей, которые занимают промежуточное положение между предположительно независимым (но сравнительно слабым в глобальном масштабе) индивидом и крайне сложными и могущественными силами глобального социального порядка (или беспорядка).

Хотя капитализм сыграл решающую роль в разрушении некоторых старых форм социальной связи, он также привел к возникновению новых. Прежде всего он создал средства для поддержания непрямых социальных отношений в крупном масштабе — парадигматически посредством рынка, но также посредством крупных административных организаций вроде многонациональных корпораций. Капитализм также облегчал и способствовал развитию других форм ком-

муникации, хотя и не объяснял его сам по себе. Андерсон (Андерсон 2001; см. также: *Habermas* 1989), например, обратил внимание на значение «печатного капитализма» в развитии современного национализма. Такие ранние деловые и поддерживаемые деловыми кругами издания, как газеты, журналы и даже романы, содействовали национализму, облегчая распространение националистической идеологии и общей культуры. Кроме того, сама их форма и практика чтения способствовала закреплению представления о социальной взаимосвязи между членами крупномасштабных категорий, связанных лишь слабыми и не слишком плотными социальными узами (*Calhoun* 1991). Так, отмечает Андерсон, читатели газет могли воображать себя участниками деятельности, которой они занимались с тысячами или даже миллионами других людей. Небольшие предприятия, возникшие благодаря развитию капитализма, сыграли важную роль в распространении националистического дискурса, став одним из столпов общественной жизни: кофейни, издательства и т.д. Коммуникационная инфраструктура облегчала связи в пространстве, побуждая людей отказываться от своих привычных деревенских представлений ради понимания себя в качестве (индивидуальных) представителей нации (*Deutsch* 1966, 1969; *Schlesinger* 1987).

Поскольку деятельность, от которой зависели жизни и заработки людей, все чаще осуществлялась вдалеке от каждой непосредственной местности, попытки осмысления сходств и связей между местами приобретали все большее значение. Связи, создаваемые при помощи рынков и товарной формы, были особенно подвержены овеществлению и представлению в категориальных терминах (*Маркс* 1960; *Postone* 1993). Так, капитал покупал труд, а не предприниматели нанимали рабочих. Класс и сам был такой категориальной идентич-

ностью. Прежде всего люди считались членами таких различных категорий по отношению к «рынку», понятому в овеществленных терминах в качестве всеобъемлющей среды, а не продукта человеческой деятельности.

На таких рынках редко тематизируются конкретные социальные отношения. Покупатели ботинок и продавцы носков не сталкиваются друг с другом как конкретные личности, участвующие в прямом обмене. Индивиды выходят на рынок скорее как члены абстрактных категорий покупателей и продавцов — тех, у кого достаточно денег, чтобы купить лучшие ботинки, или тех, кто обладает настолько незначительным влиянием, что ему приходится производить носки за ничтожную заработную плату. Они не нуждаются в каких-то особых социальных отношениях с другими представителями своей категории. Тем не менее к людям постоянно обращаются как к представителям таких категорий — например, рекламодатели и производители телевизионных программ, которые держатся наплаву за счет рекламы. Создается реклама, нацеленная на потенциальных потребителей дорогих ботинок, а представители профсоюзов ведут агитацию среди плохо оплачиваемых производителей носков. Будучи представителями таких категорий, люди узнают о том, какую пользу могут принести изменения на рынке и какие опасности они могут в себе таить — повышение минимальной заработной платы, падение ставок по закладной, сокращение рабочих мест вследствие конкуренции со стороны Японии. Как показывает последний пример, национальные идентичности становятся жизненно важными категориями. И хотя рынки никогда не останавливались на национальных границах, а движение капитала и другие экономические процессы давным-давно стали международными, в повседневном дискурсе люди продолжают считаться представи-

телями национальных экономик. Им говорят, что «американская экономика» выказывает признаки оживления, или с тревогой сообщают, что американской экономике вредит нечестная международная конкуренция. Только благодаря пониманию себя в качестве членов таких различных категорий — в основном достаточно масштабных — мы можем обозначить свое отношение к довольно крупным, отдаленным, безличным силам (прежде всего экономическим), которые определяют нашу жизнь. Нация является наиболее важной из них, хотя религиозные идентификации (иногда в сочетании с национализмом) бывают не менее сильными (см.: *Jurgensmeyer* 1993). Культурная политика национализма и религиозного фундаментализма — это один из способов, которыми люди косвенно отвечают на свое включение в относительно крупные политические объединения и глобальную экономику, в которой власть является реальной, но мобилизуемой из отдаленных и иногда непонятных центров.

#### РАВНОЗНАЧНОСТЬ И НЕУЗНАВАНИЕ

Ни одно национальное государство не существовало само по себе. Как показал Тилли, европейские государства возникли и укрепили свою власть в контексте сетей межгосударственного соперничества (*Tilly* 1975, 1990). Они действовали на экономической, а также военной и дипломатической арене (хотя политика династического родства и наследования исчезла только в конце этого процесса). Постепенно, с начала эпохи Нового времени — через XIX и начало XX столетия, более старые формы политической организации вроде империй, квазиавтономных княжеств и вольных городов уступили место более стандартизированной системе. Мир был



разделен на формально равнозначные государства, каждое из которых было суверенным. В идеале каждое из этих государств представляло только одну нацию и, следовательно, «национальное государство». Ко второй половине XX века национальным государствам стало казаться ненормальным нахождение под политической опекой другого государства, и там, где такие отношения существовали, велись кампании за изменение подобного положения вещей<sup>85</sup>.

Большинство националистических движений выдвигает притязания на государства, либо требуя создания независимых государств там, где таковых не существует, либо требуя, чтобы нация управляла государством, которое находится в руках иноземцев или других незаконных правителей. Иногда националисты соглашались на признание особого статуса в составе многонационального государства. Но дискурс национализма действует не только по направлению от народа к государству; важно также взаимное признание. В XIX веке европейцы стали считать не только, что каждая нация заслуживает своего государства, но и что каждое государство должно представлять одну нацию (*Kohn 1968*).

<sup>85</sup> Возможно, одно из наиболее заметных проявлений такой опеки имело место в коммунистическом мире, где Советский Союз серьезно ограничивал действительный суверенитет восточноевропейских государств (не говоря уже о республиках, входивших в состав СССР), но при этом притворно заявлял об их независимости. Соединенные Штаты поддерживали подобные отношения с Филиппинами и некоторыми другими государствами в своей «сфере влияния». Кроме того, открытым остается вопрос о том, является ли Пуэрто-Рико национальным государством (и должно ли оно им стать) или же его статус в Соединенных Штатах следует «нормализовать», превратив его в один из штатов.

Одна из особенностей этого нового способа осмысления суверенитета заключалась в признании всех национальных государств формально равнозначными, независимо от размера или влияния. Дискурс национализма требует, чтобы Сан-Марино, государство площадью в двадцать пять квадратных километров с 24.000 граждан, считалось формально равнозначным Китаю или Соединенным Штатам. Оно является полноправным членом Организации Объединенных Наций. Равнозначность государств особенно подчеркивается на площадках, вроде ООН, не только из-за преобладания дискурса национализма, но и из-за того, что внимание уделяется всей системе государств одновременно. Даже в межгосударственных отношениях, где важность разницы в силе и масштабе очевидна, нередко используется риторика равнозначности. В Нью-Йорке может проживать вдвое больше жителей, скажем, чем в Эритрее или Норвегии, но это не дает ему сопоставимого дипломатического статуса; равной страной считаются Соединенные Штаты, а не второстепенные административно-территориальные единицы внутри них (вроде штатов или городов).

И хотя такая формальная равнозначность наделяет нацию определенным достоинством, это вряд ли может служить заменой силы или влияния нации; национализм может обращаться к милитаризму, экономической обособленности и заботе о сохранении чести.<sup>86</sup> Это, конечно, может вести

<sup>86</sup> О роли националистического *ressentiment* в Центральной и Восточной Европе см.: *Greenfeld* (1992); применительно к Германии см.: *Eley* (1980: Ch. 5). Арабский и исламский национализм точно также был движим чувством обиды, нанесенной сильными государствами (*Farah* 1987; *Tibi* 1990; *Anderson et al.* 1991; *Балибар* и *Валерштайн* 2004).

к войне и новому кругу оскорблений, обид и вражды, как, например, на Балканах. Но нельзя пренебрегать и внутренними, во многом дискурсивными последствиями таких международных усилий. Международные конфликты вообще и военная мобилизация в частности могут способствовать созданию (или навязыванию) единства среди различных людей. Как пишет Джеймс Шихан (*Sheehan* 1978: 279) о Германии после Первой мировой войны, «военное поражение привело к национальному унижению и поставило под сомнение само существование нации, которую многие представители средних слоев считали основной политической ценностью и последним оплотом политического единства. Ремилиитаризация была способом восстановления национального единства — спасения нации внутри страны и на международной арене. Легитимность и сплоченность современного государства отчасти зависела от его способности притязать на сильную национальную историю. Это подталкивало к пересмотру прошлого и новым действиям, направленным на исполнение давнишних обещаний. Точно так же в Италии эпохи Рисорджименто и особенно в фашистской Италии проблематичное прошлое — отставание от европейских соседей и потери в колониальных войнах — оказалось в центре внимания националистов (так, герои полуудачных войн стали считаться национальными мучениками). В ходе этого, как заметила Мейбл Березин, «фашистский режим пытался колонизировать основные источники итальянской эмоциональной привязанности — семью и религию — погрузить их в общность государства» (*Berezin* 1997a, 1997b). Итальянское государство проводило политику поддержки рождаемости, например, мобилизуя идеи романтической и семейной любви и образы от девы Марии до невинной девушки, приносящей себя в жертву нации, чтобы

создать эмоционально безупречный нарратив национальной культурной идентичности. Но производство «сильного» национализма носило такой гендерно-акцентированный характер, предполагавший распространение идеалов мужественности и объявление определенных форм частной жизни необходимыми для нации, не только в Италии. То же можно сказать и о других фашизмах, а также о многих национализмах (*Mosse 1985; Parker et al. 1992*). Устранение женщин из общественной жизни было отличительной особенностью, например, перехода от коммунизма к национализму как легитимирующей идеологии во многих странах Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Крайне гендерная идея нации — и сильно стереотипизированное представление о роли женщины как члена нации — фигурировала в Великой французской революции и в таких более поздних образах, как «Марианна», чье тело — одновременно сексуальное и потенциально материнское, хотя и не без воинственности — олицетворяло французскую нацию (*Agulhon 1981; Hunt 1992*).

Требование четкого соответствия между государством и его нацией, подстегиваемое международной завистью, оскорблениями и страхами, часто служило основанием для подавления различий в нациях (включая непривычные гендерные роли) и попыток исключить или подчинить все «чуждые» элементы в государстве (в том числе тех, кто отличался в расовом или этническом отношении, а также новых иммигрантов; см.: *Gilroy 1991*). Язык национального унижения (или дурное обращение на международной арене в целом) предоставляет дискурс, который позволяет людям находить ответы на острые проблемы вроде обнищания, не осознавая, насколько их интересы вступают в противоречие с интересами остальных соотечественников. Этим неуз-

наванием не манипулируют сверху, оно включено в сам дискурс национализма (о незнании см.: Бурдье 2001).

Короче говоря, существование мировой системы государств побуждает к дальнейшему использованию националистического дискурса для оправдания притязаний на суверенитет. Хотя некоторые аналитики предрекают исчезновение таких государств в постсовременном смешении локальных идентичностей и глобальных корпораций, государства, по-видимому, пока не собираются сдавать своих позиций. Многие говорят, что государства больше не в состоянии поддерживать четкие границы и распространять внутреннюю культурную однородность. Неясно, насколько такая тенденция может повлиять на национализм. С одной стороны, это может ослабить значение государств как движущих сил национализма и снизить привлекательность прихода к государственной власти. С другой стороны, это может ослабить способность государств противодействовать восторженному национализму и расширить возможности для формирования потенциально националистических групп. Но даже ослабленные государства скорее всего останутся единственной институциональной структурой, способной проводить в жизнь серьезные проекты демократии и самоопределения. В то же самое время эта мировая система государств отвергает новые притязания на государственность на основе интеграции/слияния или дезинтеграции/отделения. Во время «весны народов» в XIX веке считалось, что мировая система государств могла предоставить свободу каждой нации (Kohn 1968; Sheehan 1978; Szporluk 1988). Такая точка зрения продержалась не слишком долго, хотя подобная риторика самоопределения все еще встречается, отчасти потому, что она основывается на предположении, что можно найти ясное примордиальное или истори-

ческое основание, которое позволит окончательно ответить на вопрос о том, каковы истинные нации. Но, как заметил Геллнер, «всякий разумный подсчет покажет, что число потенциальных наций по всей видимости намного, *намного* больше, чем число возможных жизнеспособных государств» (Геллнер 1991: 26)<sup>87</sup>. Не все потенциальные нации преследовали цели создания нации или независимого государства.

Поэтому мировая система наций служит одновременно стимулом и ограничением для национализма. Она является стимулом, потому что нет никакого другого основания для участия в международных делах, а ограничением — потому что считается, что все множество государств уже дано. Поэтому новые государства всегда получают международное признание при особых обстоятельствах. В Африке и политические лидеры, и интеллектуалы, как правило, вполне обоснованно сетуют на произвольность — или даже коварность — границ, проведенных европейскими колониальными державами. Этнические группы часто разделялись, традиционные враги собирались вместе, доступ к портам закрывался, а торговые пути оставались без внимания европейцами, когда европейцы делили континент между собой, иногда пытаясь разделить местных жителей ради лучшей управляемости (Amin 1975; Nzongola-Ntalaja 1987). Тем не менее постколониальные африканские правительства и Организация Африканского Единства отказываются признавать сецессионистские режимы отчасти именно потому, что они не раз сами сталкивались с подобными притязаниями (Lewis 1983; Mazrui and Tidy 1984; Davidson 1992). Не только

<sup>87</sup> Неясно, существуют ли вообще объективные пределы количества жизнеспособных государств, о которых говорит Геллнер. Если да, то они явно не достигнуты.

ОАЕ, но и ООН отказалась оспорить сомнительную аннексию Эритреи Эфиопией как из собственных интересов, так и вследствие усилий эфиопской дипломатии (*Iyob* 1995; *Selassie* 1980, 1989). Примечательно, что обретение независимости Эритреей в 1992 году было первым успехом националистического движения, стремившегося отменить одно из произвольных сочетаний народов и территорий, принесенное в Африку колониализмом и поддержанное современными африканскими государствами.

Стремление Эритреи к национальной независимости на протяжении всех тридцати лет войны свидетельствует о сохраняющейся значимости национализма как способа выражения коллективной идентичности и политических устремлений. Успех эритрейской борьбы не только на поле боя, но и при получении международного признания напоминает нам о том, что риторика национализма все еще действенна. Тот факт, что в результате борьбы Эритреи новая национальная идентичность возникла там, где почти отсутствовала история этнического единства, указывает на открытый потенциал национализма. Национализм способен не только продвигать старые солидарности, но и создавать новые.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Национализм слишком многообразен, чтобы его можно было объяснить одной общей теорией. Во многом содержание и особая направленность различных национализмов определяются исторически различными культурными традициями, незаурядными действиями лидеров и обстановкой на международной арене. В более общем, теоретическом выражении можно рассмотреть факторы, которые ведут к непрерывному производству и воспроизводству национализма как главной дискурсивной формации в современном мире. Они не объясняют всех следствий или особенностей националистического дискурса, но служат первым шагом в стремлении понять причины его существования и сохранения его значимости.

Национализм опирается на культурные традиции и этничность, но ни его форму, ни исторически специфическое распространение в современную эпоху невозможно объяснить этими факторами. Скорее необходимо рассматривать прежде всего способы, которыми национализм образует дискурсивную формацию, определяющую развитие современного государства и в то же время пытающуюся совладать с ним. Одним из основных аспектов этого является попытка обеспечить широкое участие в управлении государством. Национализм играет решающую, хотя и нередко оставляемую без внимания роль в современном дискурсе политической



легитимности. Легитимность в этом дискурсе связана в основном с ответом на вопрос о том, насколько определенные институты правления представляют «народ» или служат его интересам; национализм — это риторика или дискурс, который используется для установления того, что именно представляет собой этот народ. Эта категориальная идентичность конструируется при помощи дискурса национализма. В этом случае вызов предположительно нелегитимным правительствам может быть брошен от имени нации.

Процессы формирования государства играют важную роль в содействии интеграции наций и, следовательно, важности национальных идентичностей. Наряду с развитием лучшей транспортной и коммуникационной инфраструктур, распространением рыночных отношений и экспансией производственных организаций, развитие государственных административных возможностей заметно увеличивает взаимосвязь между различными областями страны. Тем самым разрушаются различные квазиавтономные местные организации и иногда подавляются соперничающие нации-претенденты. В ходе объединения страны они создают более высокую степень внутренней культурной общности, включая языковое единообразие. Культурные сходства отмечаются при создании категориальных идентичностей. Дискурс национализма служит выражением этого процесса. Но как дискурсивная формация национализм определяет форму репрезентации, а не ее точное содержание или степень включения. Таким образом, националистическая риторика служит непосредственным выражением этого процесса унификации через репрезентацию всеобъемлющей нации, которая притязает на все государство или даже больше. В то же самое время националистическая риторика используется также для репрезентации противоположных

притязаний на независимость со стороны подчиненных народов и тех, кто отказывается интегрироваться в растущие национальные государства.

И при формировании государства, и в движениях за независимость дискурс национализма стремится обеспечить достаточное соответствие между нацией и государством. Этот момент становится особенно важным вследствие распространения политических идеологий, придающих особое значение гражданству, ибо для участия граждан необходимы особые «горизонтальные» связи между ними и полная преданность государству, которой не требовали империи и другие старые формы политической организации. Требование национального «самоопределения» — основная составляющая движений за независимость — тесно связано с этим дискурсом, в котором политическая легитимность восходит от народа, даже если с требованием самоопределения нации иногда выступают элиты, не собирающиеся вводить демократию или какую-то иную форму народного участия в управлении государством.

Проблемы автономии, самоопределения и соответствия нации и государства неизбежно должны рассматриваться в контексте мира других государств. Организация этого мира частично отражает процесс капиталистической экспансии с его частичным разделением на единицы экономической и политической организации. Она отражает также разделение практически всего населения и территории мира на государства (и их доминионы) так, чтобы люди могли определять свое место в мире, высказывать свое мнение и требовать независимости на основе своей принадлежности к нации и государству. В Западной Европе националистический проект был направлен на достижение соответствия между государством и нацией при помощи слияния и объе-

динения территорий, а также на превращение жителей различных провинций в более «сплоченных» представителей нации. Но те же европейские государства часто создавали колониальные империи, которые распространяли влияние своего государства за пределы своей нации. Это создавало серьезное противоречие, способствовавшее развитию новых националистических движений. Несмотря на важность признания внутренних причин возникновения дискурса национализма, ничто так не способствует распространению националистического дискурса и привязанностей, как международные конфликты, войны. Хотя негосударственные экономические участники (вроде многонациональных корпораций) могут наращивать свое влияние, государства остаются главным механизмом, который пытается регулировать их деятельность, и единственной крупной ареной, на которой заявляются права на участие. Межгосударственные миграции также укрепляют национализм, вызывая ответную реакцию в некоторых принимающих странах и способствуя развитию национального сознания у тех, кто пересекает границу. Но именно современная война была неразрывно связана с идеей нации.

Наконец, современный дискурс национальной идентичности невозможно представить без идеи индивида. Нации конструируются как «сверхиндивиды», с одной стороны, и как категории эквивалентных индивидов — с другой. Между индивидами и их нациями устанавливаются прямые и непосредственные отношения; национальная идентичность приобретает особый приоритет над другими коллективными идентичностями при конструировании личной идентичности. Принадлежность к нации не выводится из принадлежности к какой-либо другой общности — семье, общине и т. д.; она может подкрепляться родством или дру-

гими сетевыми узами, но она имеет иную форму и порядок. Обращение к крупным категориальным идентичностям или выступление от их имени позволяет дискурсу национализма определять место людей в международном порядке (или беспорядке). Принадлежность к нации занимает промежуточное положение между дискретными индивидами и безличными силами, которые влияют на их жизнь, хотя оставляет без внимания относительно прямые, межличностные отношения. Влияние, которое оказывают на нас такие категориальные идентичности, во многом отражает влияние, которое оказывают на нас государства и масштабная экономическая деятельность.

Дискурс национализма может использоваться в демократических попытках совладать с этими огромными силами. Будучи категориальными идентичностями, нации помогают отвечать на вопрос о том, кто наделен правом участия в современном государстве, — на неприятный вопрос для демократической теории, поскольку он предполагает допущение исключительности. Национальная идентичность — это также источник солидарности, сплачивающий людей, несмотря на различия между ними, хотя она легко может быть использована как «козырь», «перебивающий» все такие различия. Хотя национализм и демократия были тесно связаны между собой в современную эпоху, в самом национализме нет ничего особенно демократического. Дискурс национализма часто используют сторонники пагубных — и иногда иллюзорных — решений проблем, вызывающих народное недовольство. При этом речь идет не только о сторонниках этнических чисток или воинственного отношения к соседям, но и о тех, кто использует дискурс национальных интересов, чтобы отвлечь внимание от своекорыстной внутренней политики, и тех, кто поддерживает не слишком приглядные сепара-

тизмы в качестве основы для невероятного экономического развития. Все они опираются на эмоциональный заряд, который содержит в себе национальная идентичность. Так же действуют и более достойные сторонники национальной солидарности, заботы обо всех членах нации и самопожертвования во имя общих интересов.

Национализм оказывает эмоциональное влияние на людей не в последнюю очередь потому, что помогает осознать свое место в большом и сложном мире и впечатляющую протяженность истории. Важно понимать, что национализм — это положительный источник значения — иногда даже вдохновения — и взаимных обязательств среди больших групп людей. Если бы он был просто иллюзией и манипуляцией, он не обладал бы таким влиянием, которое у него есть сегодня. Но под влиянием этой дискурсивной формации даже те, кто преследует наиболее благородные цели, начинают считать нации давними, почти неизменными идентичностями, сохраняющимися в истории, а не конструируемыми в ходе ее. Такое представление о нации может отрицать роль власти, связанную с ее конструированием и непрерывной внутренней организацией. Такое представление также может отвергать неортодоксальные требования различных индивидов и групп внутри нации — тех, кто может переделать ее или потребовать пространства для жизни, отличной от той, что одобряется господствующими националистическими идеологиями.

Для решения проблем, изложенных в предыдущем абзаце, потребуется серьезная работа в будущем. Такая будущая работа, однако, будет зависеть от понимания того, почему идея нации и притязания на национальную идентичность так важны для современной политики и культуры, и признания различия между крайне общим националистическим дис-

курсом, формирующим современную эпоху, и многочисленными и разнородными конкретными движениями, политической, идеологией и конфликтами, которые конституируются благодаря использованию этого дискурса.

## ЛИТЕРАТУРА

- Андерсон, Бенедикт (2001) *Воображаемые сообщества*. Москва: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле.
- Балибар, Этьен и Валлерстайн, Иммануил (2004) *Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности*. Москва: Логос.
- Барт, Фредрик (ред.) (2006) *Этнические группы и социальные границы: Социальная организация культурных различий*. Москва: Новое издательство.
- Бауэр, Отто (2002) «Национальный вопрос и социал-демократия», в: *Нации и национализм*. Москва: Праксис. С. 52–120.
- Бурдьё, Пьер (2001) *Практический смысл*. Санкт-Петербург: Алетейя.
- Вебер, Макс (1988) «Харизматическое господство», *Социологические исследования*. № 5: 139–147.
- Витгенштейн, Людвиг (1994) *Философские работы*. Ч. I. Москва: Гнозис.
- Гадамер, Ханс-Георг (1988) *Истина и метод: Основы философской герменевтики*. Москва: Прогресс.
- Гадамер, Ханс Георг (1991) *Актуальность прекрасного*. Москва: Искусство.
- Геллнер, Эрнест. *Нации и национализм*. Москва: Прогресс, 1991.
- Гирц, Клиффорд (2004) *Интерпретация культур*. Москва: РОССПЭН.
- Гоббс, Томас (2001) *Левиафан*. Москва: Мысль.
- Дюмон, Луи (1997) *Эссе об индивидуализме*. Дубна: ИЦ «Феникс».
- Дюркгейм, Эмиль (1991) *Общественное разделение труда. Метод социологии*. Москва: Наука.

- Кант, Иммануил (1966) «К вечному миру», в: И. Кант. *Сочинения*. Т. 6. Москва: Мысль. С. 257–308.
- Коэн, Джин и Арато, Эндрю (2003) *Гражданское общество и политическая теория*. Москва: Весь Мир.
- Локк, Джон (1988) «Два трактата о правлении», в: Дж. Локк. *Сочинения*. Т. 3. Москва: Мысль. С. 137–405.
- Маркс, Карл (1960) «Капитал», в: К. Маркс и Ф. Энгельс. *Сочинения*. Т. 23. Москва: Политиздат.
- Маркс, Карл и Энгельс, Фридрих (1955) «Манифест Коммунистической партии», в: К. Маркс и Ф. Энгельс. *Сочинения*. Т. 4. Москва: Политиздат. С. 419–459.
- Мертон, Роберт (2006) «Самоисполняющееся пророчество», *Прогнозис* № 1 (5): 223–238.
- Монтескье, Шарль Луи (1999) *О духе законов*. Москва: Мысль.
- Неру, Джавахарлал (1955) *Открытие Индии*. Москва: Издательство иностранной литературы.
- Поланьи, Карл (2002) *Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени*. Санкт-Петербург: Алетейя.
- Руссо, Жан-Жак (1969а) «Об общественном договоре, или Принципы политического права», в: Ж. - Ж. Руссо. *Трактаты*. Москва: Наука. С. 151–256.
- Руссо, Жан-Жак (1969б) «Соображения об образе правления в Польше и о проекте его изменения, составленном в апреле 1772 г.», в: Ж. - Ж. Руссо. *Трактаты*. Москва: Наука. С. 461–468.
- Спенсер, Герберт (1882) *Развитие политических учреждений*. Санкт-Петербург: Издание журнала «Мысль».
- Сталин, Иосиф (1936) *Марксизм и национально-колониальный вопрос*. Москва: Партиздат ЦК ВКП (б).
- Фуко, Мишель (1996а) *Археология знания*. Киев: Ника-Центр.
- Фуко, Мишель (1996б) «Воля к знанию», в: М. Фуко. *Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет*. Москва: Касталь. С. 97–267.



## ЛИТЕРАТУРА

- Фуко, Мишель (1998) *Забота о себе. История сексуальности*. Т. 3. Киев: Дух и литера; Грунт; Москва: Рефл-бук.
- Фуко, Мишель (2004) *Использование удовольствий. История сексуальности*. Т. 2. Санкт-Петербург: Академический проект, 2004.
- Хабермас, Юрген (1995) «Гражданство и национальная идентичность», в: Ю. Хабермас. *Демократия, разум, нравственность*. Москва: Academia. С. 209–245.
- Хабермас, Юрген (2001) «Борьба за признание в демократическом правовом государстве», в: Ю. Хабермас. *Вовлечение другого: очерки политической теории*. Санкт-Петербург: Наука. С. 332–380.
- Хабермас, Юрген (2005) *Политические работы*. Москва: Практис.
- Хобсбаум, Эрик (1998) *Нации и национализм после 1780 года*. Санкт-Петербург: Алетейя.
- Чаттерджи, Парта (2002) «Воображаемые сообщества: кто их воображает?», в: *Нации и национализм*. Москва: Практис. С. 283–296.
- Эванс-Притчард, Эдвард (1985) *Нуэры*. Москва: Прогресс.
- Agulhon, Maurice (1981) *Marianne into Battle: Republican Imagery and Symbolism in France, 1789–1890*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Alter, Peter (1989) *Nationalism*. London: Edward Arnold.
- Amin, Samir (1975) *La Crise de l'Imperialisme*. Paris: Editions de Minuit.
- Anderson, L., Khalidi, R., Muslih, M. and Simon, R. (eds) (1991) *The Origins of Arab Nationalism*. New York: Columbia University Press.
- Anderson, Perry (1974) *Lineages of the Absolutist State*. London: New Left Books.
- Armstrong, John A. (1982) *Nations before Nationalism*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Bakken, Borge (1994) «The exemplary society», Ph. D. thesis. Department of Sociology, University of Oslo.
- Banac, Ivo (1984) *The National Question in Yugoslavia: Origins, History, Politics*. Ithaca: Cornell University Press.

- Barber, Benjamin (1995) *Jihad vs. McWorld*. New York: Times Books.
- Beetham, David (1985) *Max Weber and the Theory of Modern Politics*, rev. edn. Cambridge: Polity.
- Bendix, Reinhard (1964) *Nation-Building and Citizenship*. Berkeley: University of California Press.
- Benner, Erica (1995) *Really Existing Nationalisms: A Post-Communist View from Marx and Engels*. Oxford: Clarendon Press.
- Berezin, Mabel (1997a) *Communities of Feeling: Culture, Politics and Identity in Fascist Italy*. Ithaca: Cornell University Press.
- Berezin, Mabel (1997b) «Making political love: State, nation, and identity in fascist Italy», in George Steinmetz (ed.) *State/Culture*. Ithaca: Cornell University Press.
- Best, Geoffrey (ed.) (1988) *The Permanent Revolution: The French Revolution and its Legacy*. Chicago: University of Chicago Press.
- Billig, Michael (1995) *Banal Nationalism*. London: Sage.
- Blaut, James (1987) *The National Question: Decolonizing the Theory of Nationalism*. Atlantic Highlands, NJ: Zed Books.
- Bloom, William (1990) *Personal Identity, National Identity and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Blum, Carol (1986) *Rousseau and the Republic of Virtue: The Language of Politics in the French Revolution*. Ithaca: Cornell University Press.
- Brass, Paul (1979) «Elite groups, symbol manipulation and ethnic identity and the Muslims of South Asia», in David Taylor and Malcolm Yapp (eds) *Political Identity in South Asia*. London: Curzon Press, pp. 85–105.
- Brass, Paul (1991) *Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison*. New Delhi and Beverly Hills: Sage.
- Brennan, Timothy (1990) «The national longing for form», in H. Bhabha (ed.) *Nation and Narration*. London: Routledge, pp. 44–70.
- Breuilly, John (1993) *Nationalism and the State*, rev. edn. Chicago: University of Chicago Press (first published 1982).
- Brewer, John (1989) *The Sinews of Power: War, Money and the English State, 1688–1783*. London: Unwin Hyman.

## ЛИТЕРАТУРА

- Brubaker, Rogers (1992) *Citizenship and Nationhood in France and Germany*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Brubaker, Rogers (1996) *Nationalism Re framed: Nationhood and the National Question in the New Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Calhoun, Craig (1980) The authority of ancestors: A sociological reconsideration of Fortes's Tallensi in response to Fortes's critics», *Man, The Journal of the Royal Anthropological Institute*, new series, 15, 2: 304–319.
- Calhoun, Craig (1983) «The radicalism of tradition: Community strength or venerable disguise and borrowed language?», *American Journal of Sociology*, 88, 5: 886–914.
- Calhoun, Craig (1988) «Classical social theory and the French Revolution of 1848», *Sociological Theory*, 7, 2: 210–225.
- Calhoun, Craig (1991) «Imagined communities and indirect relationships: Large scale social integration and the transformation of everyday life», in P. Bourdieu and J.S. Coleman (eds) *Social Theory for a Changing Society*. Boulder, CO: Westview Press, pp. 95–120.
- Calhoun, Craig (1992) «The infrastructure of modernity: Indirect relationships, information technology, and social integration», in H. Haferkamp and N.J. Smelser (eds) *Social Change and Modernity*. Berkeley: University of California Press, pp. 205–236.
- Calhoun, Craig (1993a) «New social movements of the early 19th century», *Social Science History*, 17, 3: 385–427.
- Calhoun, Craig (1993b) «Nationalism and civil society: Democracy, diversity and self-determination», *International Sociology*, 8, 4: 387–411.
- Calhoun, Craig (1995) *Critical Social Theory: Culture, History and the Challenge of Difference*. Cambridge, MA: Blackwell.
- Carr, Edward Hallett (1945) *Nationalism and After*. London: Macmillan.
- Cesaire, Aimee (1955) *Discourses on Nationalism*. New York: Monthly Review Press.
- Chatterjee, Partha (1986) *Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse?* Atlantic Highlands, NJ: Zed Books.

- Chatterjee, Partha (1994) *The Nation and Its Fragments: Studies in Colonial and Post-Colonial Histories*. Princeton: Princeton University Press.
- Chiot, Daniel (1991) *The Crisis of Leninism and the Decline of the Left: The Revolutions of 1989*. Seattle: University of Washington Press.
- Chow, Tse-tung (1960) *The May 4th Movement: Intellectual Revolution In Modern China*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Claudin, Fernando (1977) *The Communist Movement: From Comintern to Cominform*. Harmondsworth: Penguin.
- Comaroff, John (1991) «Humanity, ethnicity, nationality: conceptual and comparative perspectives on the USSR», *Theory and Society*, 20: 661–687.
- Connolly, William E. (1974) *The Terms of Political Discourse*. Lexington, MA: Heath.
- Connor, Walker (1984) *The National Question in Marxist-Leninist Theory and Strategy*. Princeton: Princeton University Press.
- Connor, Walker (1994) *Ethnonationalism*. Princeton: Princeton University Press.
- Conover, Pamela and Hicks, Barbara (1996) «The psychology of overlapping identities: Ethnic, citizen, nation, and beyond», in ARENA working paper no. 20, *Identity Formation, Citizenship and Statebuilding in the Former Communist Countries of Eastern Europe*. Oslo: ARENA.
- Cushman, Thomas and Mestrovic, Stjepan G. (eds) (1996) *This Time We Knew: Western Responses to Genocide in Bosnia*. New York: New York University Press.
- Davidson, Basil (1992) *Black Man's Burden: Africa and the Curse of the Nation-State*. New York: Times Books.
- Debray, Régis (1977) «Marxism and the national question», *New Left Review*, 105, 20–41.
- Delanty, Gerard (1995) *Inventing Europe*. London: Macmillan.
- Denitch, Bogdan (1994) *Ethnic Nationalism: The Tragic Death of Yugoslavia*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

## ЛИТЕРАТУРА

- Deutsch, Karl W. (1966) *Nationalism and Social Communication: An Inquiry into the Foundations of Nationality*, 2<sup>nd</sup> edn. Cambridge: MIT Press (first published 1953).
- Deutsch, Karl W. (1969) *Nationalism and Its Alternatives*. New York: Knopf.
- Dittkower, Frank (1993) *The Discourse of Race in Modern China*. Princeton: Princeton University Press.
- Dittmer, Lowell and Kim, Samuel S. (eds) (1993) *China's Quest for National Identity*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Dobbs, Michael (1996) «Milosevic, a man of the past, has dragged Serbia backward», *International Herald Tribune*, 5 August.
- Donia, Robert J. and Fine, John V.A. Jr. (1994) *Bosnia and Hercegovina: A Tradition Betrayed*. London: Hurst.
- Doob, Leonard (1964) *Patriotism and Nationalism: Their Psychological Foundations*. New Haven: Yale University Press.
- Duara, Prasenjit (1988) *Culture, Power and the State: Rural North China, 1900–1942*. Stanford: Stanford University Press.
- Duara, Prasenjit (1992) *Rescuing History from the Nation-State*. Chicago: Working Papers and Proceedings of the Center for Psychosocial Studies, no. 48.
- Du Bois, W. E. B. (1989) *The Souls of Black Folk*. New York: Dover (first published 1903).
- Durkheim, Emile (1950) *Textes*, Vol. 3 (edited by V. Karady). Paris: Editions de Minuit.
- Dyer, Gwynne (1985) *War*. New York: Crown Books.
- Eisenstadt, Shmuel (1966) *Modernization, Protest and Change*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Eisenstadt, Shmuel (1973) *Building States and Nations*. Beverly Hills: Sage.
- Ekeh, Peter (1990) «Social anthropology and two contrasting uses of tribalism in Africa», *Comparative Studies in Society and History*, 32, 4: 660–700.
- Eley, Geoff (1980) *Reshaping the German Right*. Oxford: Oxford University Press.

- Eley, Geoff (1992) «Nations, publics and political cultures: Placing Habermas in the nineteenth century», in C. Calhoun (ed.) *Habermas and the Public Sphere*. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 289–339.
- Evens, Terence M.S. (1995) *Two Kinds of Rationality*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Fanon, Frantz (1963) *The Wretched of the Earth*. New York: Grove.
- Fanon, Frantz (1965) *A Dying Colonialism*. London: Writers and Readers Press.
- Farah, Tawfic E. (ed.) (1987) *Pan-Arabism and Arab Nationalism: The Continuing Debate*. Boulder: Westview Press.
- Fichte, Johann Gottlieb (1968) *Addresses to the German Nation*. New York: Harper.
- FitzGerald, Frances (1980) *America Revised: History School Books in the Twentieth Century*. New York: Vintage.
- Fortes, Meyer (1945) *The Web of Kinship among the Tallensi of Northern Ghana*. Oxford: Oxford University Press.
- Fortes, Meyer (1949) *The Dynamics of Clanship among the Tallensi of Northern Ghana*. Oxford: Oxford University Press.
- Foucault, Michel (1977) *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977*. New York: Pantheon.
- Fraser, Nancy (1992) «Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy», in C. Calhoun (ed.) *Habermas and the Public Sphere*. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 109–143.
- Gallie, W. B. (1967) *Philosophy and Historical Explanation*. Oxford: Oxford University Press.
- Gebre-Ab, Habtu (1993) *Ethiopia and Eritrea: A Documentary Study*. Trenton: Red Sea Press.
- Geertz, Clifford (1963) «The integrative revolution: Primordial sentiments and civil politics in the new states», in C. Geertz (ed.) *Old Societies and New States: The Quest for Modernity in Asia and Africa*. New York: Free Press, pp. 107–113.

## ЛИТЕРАТУРА

- Gellner, Ernest (1964) *Thought and Change*. London: Weidenfeld and Nicolson.
- Gellner, Ernest (1995) «Introduction», in Sukuwar Periwai (ed.) *Notions of Nationalism*. Budapest: Central European University Press.
- Giddens, Anthony (1984) *The Nation State and Violence*. Berkeley: University of California Press.
- Gierke, Otto Friedrich von (1934) *Natural Law and the Theory of Society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gilroy, Paul (1991) *Ain't No Black in the Union Jack*. Chicago: University of Chicago Press.
- Gilroy, Paul (1993) *The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Gladney, Dru C. (1990) «The peoples of the People's Republic: Finally in the vanguard?», *Fletcher Forum of World Affairs*, 17, 1: 62–76.
- Godechot, Jacques (1964) *La Grande Nation*. Paris: Colin.
- Greenfeld, Leah (1992) *Nationalism: Five Paths to Modernity*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Guibernau, Montserrat (1996) *Nationalisms: The Nation-State and Nationalism in the Twentieth Century*. Cambridge: Polity.
- Haas, Ernst B. (1964) *Beyond the Nation-State: Functionalism and International Organization*. Stanford: Stanford University Press.
- Habermas, Jurgen (1989) *Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Halevy, Elie (1930) *The World Crisis of 1914–1918*. Oxford: Clarendon Press.
- Hall, John (1995) «Nationalisms, classified and explained», in S. Periwai (ed.) *Notions of Nationalism*. Budapest: Central European University Press, pp. 8–33.
- Hann, Chris (1995) «Intellectuals, ethnic groups and nations: Two late-twentieth-century cases», in S. Periwai (ed.) *Notions of Nationalism*. Budapest: Central European University Press, pp. 106–128.
- Hayes, Carleton J. H. (1931) *The Historical Evolution of Modern Nationalism*. New York: R. R. Smith.

- Hayes, Carleton J. H. (1966) *Essays on Nationalism*. New York: Russell and Russell.
- Hechter, Michael (1975) *Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, 1536–1966*. Berkeley: University of California Press.
- Hedges, Chris (1997) «Rock singer's raucous role: Serbia's jeer leader», *New York Times*, 17 January.
- Herder, Johann Gottfried (1966) *On the Origin of Language*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hintze, Otto (1975) «Military organization and the organization of the state», in *The Historical Essays of Otto Hintze*. Princeton: Princeton University Press.
- Hobsbawm, Eric and Ranger, Terence (1983) *The Invention of Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Horowitz, David (1985) *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley: University of California Press.
- Hoston, Germaine A. (1994) *The State, Identity, and the National Question in China and Japan*. Princeton: Princeton University Press.
- Huang, Hui (1996) «The Chinese construction of the West, 1862–1922: Discourses, actors, and the cultural field», Ph. D. dissertation. University of North Carolina at Chapel Hill.
- Hunt, Lynn (1984) *Politics, Culture, and Class in the French Revolution*. Berkeley: University of California Press.
- Hunt, Lynn (1992) *The Family Romance of the French Revolution*. Berkeley: University of California Press.
- Hunt, Michael (1993) «Chinese national identity and the strong state: The late Qing-Republican crisis», in Lowell Dittmer and Samuel S. Kim (eds) *China's Quest for National Identity*. Ithaca, NY: Cornell University Press, pp. 62–79.
- Hutcheson, John (1994) *The Dynamics of Cultural Nationalism*, rev. edn. London: Harper Collins.



## ЛИТЕРАТУРА

- Ishay, Micheline (1995) *Internationalism and its Betrayal*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Iyob, Ruth (1995) *The Eritrean Struggle for Independence: Domination, Resistance, Nationalism, 1941-1993*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jalal, Ayesha (1995) «Conjuring Pakistan: History as official imagining», *International Journal of Middle East Studies*, 27, 1: 73-89.
- Jurgensmeyer, Mark (1993) *The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State*. Berkeley: University of California Press.
- Keane, John (1995) «Nations, nationalism, and European citizens», in Sukumar Periwal (ed.) *Notions of Nationalism*. Budapest: Central European University Press, pp. 182-207.
- Kedourie, Elie (1994) *Nationalism*, 4<sup>th</sup> edn. Oxford: Blackwell.
- Kennedy, Paul M. (1987) *The Rise and Fall of the Great Powers*. New York: Random House.
- Kohn, Hans (1967) *The Idea of Nationalism*. New York: Collier.
- Kohn, Hans (1968) *The Age of Nationalism*. New York: Harper and Row.
- Kolakowski, Leszek (1992) «Amidst moving ruins», *Daedalus* 121, 2: 43-56.
- Kramer, Lloyd (1988) *Threshold of a New World: Intellectuals and the Exile Experience in Paris, 1830-1848*. Ithaca: Cornell University Press.
- Kramer, Lloyd, Reid, Donald and Barney, William (eds) (1994) *Learning History in America: Schools, Cultures, and Publics*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Kupchan, Charles (ed.) (1995) *Nationalism and Nationalities in the New Europe*. Ithaca: Cornell University Press.
- Laitin, David (1992) *Language Repertoires and the State Construction in Africa*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Levenson, Joseph R. (1958) *Confucian China and Its Modern Fate*. Berkeley: University of California Press.
- Lewis, I. M. (ed.) (1983) *Nationalism and Self-Determination in the Horn of Africa*. London: Ithaca Press.

- McAdam, Douglas (1982) *Political Process and the Development of Black Insurgency*. Chicago: University of Chicago Press.
- McAdam, Douglas (1986) «Recruitment to high-risk activism: The case of freedom summer», *American Journal of Sociology*, 92, 1: 64–90.
- McCarthy, John and Zald, Mayer (1976) «Resource mobilization and social movements: A partial theory», *American Journal of Sociology*, 82, 4: 1212–1241.
- MacPherson, C. B. (1976) *The Political Theory of Possessive Capitalism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Madsen, Richard (1995) *China and the American Dream*. Berkeley: University of California Press.
- Malcolm, Noel (1996) *Bosnia: A Short History*, rev. edn. London: Macmillan.
- Mann, Michael (1986) *Sources of Social Power*, Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mann, Michael (1993) *Sources of Social Power*, Vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mann, Michael (1995) «A political theory of nationalism and its excesses», in Sukumar Periwal (ed.) *Notions of Nationalism*. Budapest: Central European University Press, pp. 44–64.
- Marcu, E. D. (1976) *Sixteenth-century Nationalism*. New York: Abacus Books.
- Marcus, Harold (1994) *A History of Ethiopia*. Berkeley: University of California Press.
- Markakis, John (1987) *National and Class Conflict in the Horn of Africa*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mauss, Marcel (1985) *Oeuvres*, Vol. 3. (edited by V. Karady). Paris: Editions de Minuit.
- Mazrui, Ali and Tidy, Michael (1984) *Nationalism and New States in Africa from about 1935 to the Present*. Nairobi: Heinemann.
- Meinecke, Friedrich (1970) *Cosmopolitanism and the National State*. Princeton, NJ: Princeton University.

## ЛИТЕРАТУРА

- Melikian, Souren (1997) «Britain's imperiled heritage: Show underscores fragile state of artistic legacy», *International Herald Tribune*, 11–12 January.
- Mommsen, Wolfgang (1984) *Max Weber and German Politics, 1890–1920*, rev. edn. Chicago: University of Chicago Press.
- Mosse, George (1985) *Nationalism and Sexuality*. New York: Fertig.
- Motyl, Alexander J. (1992) The modernity of nationalism: Nations, states and nation-states in the contemporary world», *Journal of International Affairs*, 45, 3: 307–23.
- Moynihan, Daniel Patrick (1993) *Pandaemonium: Ethnicity in International Politics*. Oxford: Oxford University Press.
- Nadel, Siegfried (1957) *A Theory of Social Structure*. London: Cohen and West.
- Nairn, Tom (1977) *The Break-Up of Britain: Crisis and Neo-Nationalism*, 2<sup>nd</sup> edn. London: New Left Books.
- Nenarokov, Albert and Proskurin, Alexander (1983) *How the Soviet Union Solved the Nationalities Question*. Moscow: Novosti Press Agency Publishing House.
- Nimni, Ephraim (1991) *Marxism and Nationalism: Theoretical Origins of a Political Crisis*. London: Pluto.
- Noiriel, Gerard (1991) *La Tyrannie du National*. Paris: Calmann-Levy.
- Noiriel, Gerard (1996) *The French Melting Pot*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Nzongola-Ntalaja (1987) «The national question and the crisis of instability in Africa», in E. Hansen (ed.) *Africa: Perspectives on Peace and Development*. Atlantic Highlands, NJ: Zed Books, pp. 55–86.
- Oberschall, Anthony (1973) *Social Conflict and Social Movements*. Englewood-Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Parker, Andrew, Russo, Mary, Sommer, Doris and Yaeger, Patricia (1992) *Nationalisms and Sexualities*. London: Routledge.
- Pocock, J. G. A. (1975) *The Macchiavellian Moment*. Princeton: Princeton University Press.

- Poggi, Gianfranco (1973) *The Rise of the State*. Stanford: Stanford University Press.
- Postone, Moishe (1993) *Time, Labour and Social Domination*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Poulantzas, Nicos (1980) *State, Power and Socialism*. London: New Left Books.
- Rawls, John (1993) «The law of peoples», in Stephen Shute and Susan Hurley (eds) *On Human Rights: The Oxford Amnesty Lectures, 1993*. New York: Basic Books.
- Raychaudhuri, Tapan (1995) «Historical reflections on the politics of Hindu communalism», *Contention*, 4, 2:141–162.
- Renan, Ernst ([1882]1990) «What is a nation?», in Homi Bhabha (ed.) *Nation and Narration*. London: Routledge, pp. 8–22.
- Renner, Karl (1978) *The Development of the National Idea*, in T. Bottomore (ed.) *Austro-Marxism*. Oxford: Clarendon Press.
- Savarkar, Samagra (1937) *Wangmaya*, Vol. 6. Poona: Maharashtra Krantik Hindu sabha (Maharashtra Revolutionary Hindu Assembly).
- Schlesinger, Philip (1987) «On national identity: Some conceptions and misconceptions criticized», *Social Science Information*, 26, 2: 219–264.
- Schlesinger, Philip (1992) «“Europeanness”—a new cultural battlefield?» *Innovation in Social Sciences Research*, 5, 2:1–23.
- Schrecker, John (1991) *The Chinese Revolution in Historical Perspective*. New York: Praeger.
- Schwarcz, Vera (1986) *The Chinese Enlightenment: Intellectuals and the Legacy of the May Fourth Movement of 1919*. Berkeley: University of California Press.
- Schwartz, Benjamin (1964) *In Search of Wealth and Power: Yen Fu and the West*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Schwarzmantel, John (1991) *Socialism and the Idea of the Nation*. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
- Selassie, Bereket Habte (1980) *Conflict and Intervention in the Horn of Africa*. London: Gordon and Breech.

## ЛИТЕРАТУРА

- Selassie, Bereket Habte (1989) *Eritrea and the United Nations*. Trenton: Red Sea Press.
- Seton-Watson, Hugh (1977) *Nations and States*. Boulder, CO: Westview.
- Sheehan, James J. (1978) *German Liberalism in the Nineteenth Century*. Chicago: University of Chicago Press.
- Shils, Edward (1957) «Primordial, personal, sacred and civil ties», *British Journal of Sociology*, 8, 2:130–45.
- Shils, Edward (1981) *Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Skocpol, Theda (1979) *States and Social Revolutions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Skurnowicz, Joan S. (1981) *Romantic Nationalism and Liberalism: Joachim Lelewel and the Polish National Idea*. New York: Columbia University Press.
- Smith, Anthony (1973) «Nationalism», *Current Sociology*, 21: 7–128.
- Smith, Anthony (1983) *Theories of Nationalism*. London: Duckworth.
- Smith, Anthony (1986) *The Ethnic Origins of Nations*. Oxford: Blackwell.
- Smith, Anthony (1991) *National Identity*. London: Penguin.
- Snyder, Louis (1982) *Global Mini-Nationalisms: Autonomy or Independence?* Westport, CT: Greenwood.
- Snyder, Louis (1984) *Macro-Nationalisms: A History of the Pan-Movements*. Westport, CT: Greenwood.
- Spence, Jonathan (1990) *The Search for Modern China*. New York: Norton.
- Steiner, George (1988) «Aspects of counter-revolution», in P. Best (ed.) *The French Revolution*. Chicago: University of Chicago Press, pp. 129–155.
- Sutton, M. (1982) *Nationalism, Positivism and Catholicism: The Politics of Charles Maurras and French Catholics 1890–1914*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Szporluk, Roman (1988) *Communism and Nationalism: Karl Marx vs. Friedrich List*. New York: Oxford University Press.
- Tamir, Yael (1993) *Liberal Nationalism*. Princeton: Princeton University Press.

- Taylor, Charles (1990) *Sources of the Self*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Thomas, George and Meyer, John (1984) «The expansion of the state», *Annual Review of Sociology*, 10: 461–482.
- Thrower, Norman J. W. (1996) *Maps and Civilization: Cartography in Culture and Society*. Chicago: University of Chicago Press.
- Tibi, Bassam (1990) *Arab Nationalism: A Critical Enquiry*, 2nd edn. Translated by M. F. Sluglett and Peter Sluglett. New York: Saint Martin's Press.
- Tilly, Charles (ed.) (1975) *The Formation of National States in Western Europe*. Princeton: Princeton University Press.
- Tilly, Charles (1978) *From Mobilization to Revolution*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Tilly, Charles (1984) *Big Questions, Large Processes, Huge Comparisons*. New York: Russell Sage Foundation.
- Tilly, Charles (1990) *Coercion, Capital and European States, AD 990–1990*. Cambridge: Blackwell.
- Tiryakian, Edward and Rogowski, Donald (eds) (1985) *New Nationalisms in the Developed West*. Boston: Allen and Unwin.
- Todorov, Istvan (1990) *Nous et les autres*. Paris: Editions de Seuil.
- Trevor-Roper, Hugh (1983) «The invention of tradition: The highland tradition of Scotland», in E. Hobsbawm and T. Ranger (eds) *The Invention of Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 15–42.
- Ullmann, Walter (1977) *Political Theories of the Middle Ages*. Harmondsworth: Penguin.
- van der Veer, Peter (1994) *Religious Nationalism: Hindus and Muslims in India*. Berkeley: University of California Press.
- Wallerstein, Immanuel (1974–1988) *The Modern World System*, Vols 1–3. La Jolla: Academic Press.
- Walzer, Michael (1983) *Spheres of Justice*. New York: Free Press.
- Walzer, Michael (1992) *Just and Unjust Wars*, 2nd edn. New York: Basic Books.

## ЛИТЕРАТУРА

- Warnke, Georgia (1987) *Gadamer: Hermeneutics, Tradition and Reason*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Watkins, Susan Cott (1992) *Provinces into Nations: Demographic Diversity in Europe, 1880–1960*. Princeton: Princeton University Press.
- Weber, Eugen (1976) *Peasants into Frenchmen*. Stanford: Stanford University Press.
- Weber, Marianne (1988) *Max Weber: An Intellectual Biography*. New Brunswick: Transaction.
- Weber, Max (1976) *Economy and Society*. Berkeley: University of California Press.
- Weintraub, Jeff (1997) «Introduction», in Jeff Weintraub and Krishan Kumar (eds) *Public and Private in Thought and Practice*. Chicago: University of Chicago Press.
- White, Harrison (1992) *Identity and Control*. Princeton: Princeton University Press.
- Zacek, Joseph F. (1969) «Nationalism in Czechoslovakia», in Peter F. Sugar and Ivo J. Lederer (eds) *Nationalism in Eastern Europe*. Seattle: University of Washington Press.
- Zaret, David (1996) «Petitions and the “Invention” of public opinion in the English revolution», *American Journal of Sociology*, 101, 6: 1497–1555.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

# «НАЦИОНАЛИЗМ» И ПУБЛИЧНАЯ СФЕРА

Когда в 1993 году американский историк Джон Холл впервые заявил о невозможности построения «одной, универсальной теории национализма», он так и не пояснил, почему ко всему множеству несхожих феноменов по-прежнему должен был применяться один и тот же термин, пусть и во множественном числе («национализмы»), и как в этом случае можно было избежать опасности впасть в «крайний партикуляризм» (*Hall 1993: 1*)<sup>1</sup>. В этом же году была опубликована первая работа Крэйга Калхуна о национализме — его знаменитая статья «Национализм и этничность» (*Calhoun 1993*), в которой он, опираясь на работы других исследователей, пытался прояснить отношения между этими феноменами. Но Калхун не просто обобщил в ней существовавшие на тот момент теоретические подходы, но и предложил новый концептуальный инструментарий для изучения национализма

<sup>1</sup> Холл говорил о возможности «очерчивания различных идеальных типов национализма» (*Hall 1993: 1*), но тогда открытым оставался вопрос о том, на каком основании эти «идеальные типы» могли считаться идеальными типами именно *национализма*.



и ответил на вопрос о том, что связывало между собой отдельные «проявления» национализма.

Отказавшись от поиска сходств в *содержании* различных национализмов, Калхун сосредоточил внимание на *форме* и показал, что во всех этих случаях национализмы объединялись общим «дискурсом» или «дискурсивной формацией». Конечно, Калхун не был первым, кто заговорил о национализме как о дискурсивном явлении. В 1996 году Джеффри Или и Рональд Суни, ретроспективно оценивая исследования национализма предшествующих двух десятилетий, отмечали серьезный аналитический переход от изучения «материальных и структурных условий к области дискурса и порождения значения» (Eley, Suny 1996: 6), по сути, утверждая, что исследователи занимались *практическим* изучением националистического дискурса *avant la lettre*. Первой же попыткой *теоретического* обоснования возможности понимания национализма как особого дискурса стала статья Тимоти Бреннана «Национальная жажда формы», в которой говорилось о том, что «“нация” представляет собой именно то, что Фуко называл “дискурсивной формацией” — не просто аллереорию или художественный образ, а порождающую политическую структуру» (Brennan 1990: 46–47)<sup>2</sup>. Но ни сама категория «дискурсивной формации», ни ее со-

<sup>2</sup> Будучи специалистом в области сравнительного литературоведения, Бреннан призывал изучать употребление «нации» в качестве тропа «для таких вещей, как “принадлежность”, “ограниченность” и “привязанность”» в литературе и, несмотря на замечание о необходимости принятия в расчет «институционального использования художественной литературы в самих националистических движениях» (Brennan 1990: 47), применял понятие дискурса прежде всего к анализу художественных текстов. В этом

держание не получили у него сколько-нибудь подробного рассмотрения.

В отличие от Бреннана (и независимо от него), Калхун обратился к последовательному описанию «дискурсивной формации» национализма. Поскольку объединяющим принципом всякой «дискурсивной формации» служит не общий референт, тема, стиль высказываний или повторяемость одних и тех же понятий, а «регулярность в рассеивании», Калхун сделал своей отправной точкой витгенштейнианское понятие «семейных сходств»<sup>3</sup>. Это позволило ему обойтись без жестких определений национализма и нации, избежав при этом «филологического» (*Calhoun* 1995b: 419) изучения происхождения самих этих терминов, которое способно создать ощущение исторической преемственности между различными и даже противоположными дискурсами, как это часто бывало у ранних историков национализма, находивших его проявления на всем протяжении человеческой истории, начиная с Древней Греции и Рима.

Благодаря использованию этого подхода Калхуну также удалось преодолеть редукционизм политической теории и истории идей, предполагавший выделение взаимоисключо-

смысле его подход скорее следует считать не дискурсивным, а нарративным.

<sup>3</sup> Калхун продуктивно использует категорию «семейных сходств» не только применительно к содержанию «дискурсивной формации» национализма, но и, например, для описания устройства социальной идентичности вообще и «европейской идентичности» в частности (*Calhoun* 2001b: 52). Вслед за ним понятием «семейных сходств» в исследованиях национализма, хотя и без ссылок на Витгенштейна, стал пользоваться британский теоретик Энтони Смит (*Smith* 1999: 206; 2001: 32). Ср. также: *Özkirimli* 2000.

чающих идеальных типов «этнического» и «гражданского» национализма, характерных для различных национальных историй (например, Франции и Германии). Так, если раньше под «этническим» национализмом понимались притязания дополитической «этнической» общности на национальный суверенитет, а под «гражданским» — продукт чистой политики и коллективной воли, то теперь они стали рассматриваться как две «симбиотические» дискурсивно-политические логики, постоянно взаимодействующие и пересекающиеся между собой в каждой национальной истории (*Calhoun* 1998: 20–21; 2002с: 878; 2005: XXXIV, LX).

Но, принимая понятия «дискурсивной формации» и «дискурса» в том виде, в каком они использовались самим Фуко, Калхун унаследовал от него и все проблемы, связанные с разграничением дискурсивной и внедискурсивной областей и отношениями между ними. Так, с одной стороны, Фуко пытался выделить целостности, осуществлявшие производство значения, показав, что значение само по себе предполагает наличие условий производства, несводимых к нему самому. Такие целостности и составляли дискурс — «практику, которая систематически формирует объекты, о которых они (дискурсы) говорят» (Фуко 1996: 50). Но, с другой стороны, Фуко выстраивал своеобразную топологию отношений между дискурсивным и внедискурсивным, отдавая приоритет именно внедискурсивному, которое становилось у него основой дискурсивного. И он открыто отвергал смешение «вторичных, или рефлексивных, отношений, которые мы могли бы назвать собственно дискурсивными», с тем, что он называл «первичными отношениями», которые существовали «независимо от любого дискурса и любого объекта дискурса» и могли быть описаны в виде отношений «между институтами, технологиями, социальными формами и проч.» (Фуко

1996: 46). В результате, неизбежно возникала проблема согласования формации правил, свойственных дискурсу, с существованием внешних по отношению к ним причинных логик и процессов, которая у Фуко так и осталась нерешенной.

Этим обусловлена определенная двусмысленность, присутствующая в описании дискурсивной формации национализма у Калхуна. С одной стороны, он отрицает возможность сведения национализма к множеству внешних — экономических, политических, социальных — причин («первичные отношения») и настаивает на наличии у него своей «внутренней логики и ряда противоречий, которые сами по себе создают еще больше дискурса» (*Calhoun* 1995b: 399). С другой стороны, проводя в своей книге границу между национализмом как «дискурсом» (риторика), национализмом как «проектом» (политика) и национализмом как «способом оценки» (идеология превосходства), он связывает дискурс исключительно с лингвистическими практиками националистов (речь и письмо), ничего не говоря о дискурсивном характере самих политики и идеологии и не показывая, каким образом соотносятся между собой дискурс и внедискурсивное.

Закономерным итогом этого становится постоянное балансирование между признанием национализма «просто» риторикой, когда он терпит провал, сталкиваясь с соперничающими дискурсами, или когда его притязания, например на историю, оказываются несостоятельными с «социологической» точки зрения (*Calhoun* 1994: 314), и «не просто» риторикой (*Calhoun* 1995a: 259; 1997a: 94), когда ему удастся добиться успеха на уровне «первичных отношений» (например, в случае с унификацией демографического поведения внутри национальных государств).

Ссылаясь на такие трудности, критики дискурсивного подхода заявляют о его «меньшей убедительности» в срав-

нении с другими конструктивистскими теориями. Например, Маргарет Мур признает существование различных дискурсов («земли, сообщества или суверенитета»), важных для национальной группы и определяющих ее отличие от этнической группы, но решительно отвергает тезис о том, что «нации представляют собой продукт “дискурсивных формаций”», символических или культурных систем, позволяющих противопоставлять одни группы другим «на основании внутренней логики дискурса группы» (*Moore* 2001: 11). Она утверждает, что в этом случае «слишком мало оснований для предоставления какого-либо институционального признания национальным идентичностям. Национальные идентичности, в конечном итоге, просто создаются из логики языка с очевидным подтекстом, что изменение дискурса приведет к изменению идентичности» (*Moore* 2001: 11).

С точки зрения Мур, основная проблема калхуновского подхода состоит в неспособности ответить на вопрос о возникновении и воспроизводстве националистического дискурса. Она не вполне корректно излагает его позицию, утверждая, что согласно Калхуну дискурс не имеет оснований вне дискурса, так как на самом деле у него присутствует разделение между дискурсивным и внедискурсивным, соответствующее разделению между риторическим и институциональным измерениями национализма<sup>4</sup>. Но, несмотря на всю теоретическую уязвимость самой этой критики, обуслов-

<sup>4</sup> Отчасти такое искажение обусловлено тем, что Мур без каких-либо изменений заимствует аргументацию Джеймса Фирона и Дэвида Лейтина (*Fearon, Laitin* 2000), рассматривающих противоречия в применении дискурсивного подхода в исследованиях этнического насилия.

ленную прагматикой аргументации<sup>5</sup>, она все же позволяет увидеть основную слабость дискурсивного подхода, который часто оставляет без внимания вопрос об установлении связи между дискурсивной и внедискурсивной областями: «...поскольку этот подход неспособен объяснить, почему этот дискурс так сильно ограничивает действия индивидов, он, по всей видимости, предполагает идею, формально отвергаемую теоретиками дискурса, а именно: что дискурсы (культуры?) внутренне ограничены и жестко определяют поведение своих членов» (Moore 2001: 11).

В результате «генеративный» (Calhoun 1995b: 399) и «трансформативный» (Calhoun 1999a: 19) характер националистического дискурса невозможно понять, не рассмотрев того, что именно в национализме обеспечивает переход от «просто» риторики к «не просто» риторике. Парадоксальным образом в «Национализме» Калхун почти не касается условий, которые делают этот переход возможным и успешным, просто констатируя, что дискурсивная формация национализма использовалась для ответа на вопрос о политическом сообществе, которое должно было служить основой государства в современную эпоху.

<sup>5</sup> Нетрудно понять, почему Мур решительно отвергает «дискурсивные модели» и заявляет о своей симпатии к функционалистскому подходу. Предлагая нормативное коммунитаристское обоснование национализма, она ищет опору в подходах, которые утверждают «необходимость», «предопределенность» и «неизбежность» появления национализма в эпоху Нового времени, а существующие «дискурсивные» подходы — при всех своих недостатках — исключают какую-либо телеологию в вопросе о возникновении наций и национализма.

Калхун показывает, как соединение трех различных, но взаимосвязанных форм притязаний на более широкое политическое сообщество («публики» из классического республиканства, избранного «народа» из Реформации и «нации» как дополитической общности, предположительно имеющей общее происхождение и культуру) с централизованным государственным строительством и все более широким распространением прямого правления привело к «концептуальной революции» (*Calhoun* 1995a: 239; 1997a: 78), которая завершилась возникновением дискурсивной формации национализма. Но, признавая, что нельзя заранее исключать возможность использования националистической риторики населением, которое ранее не выдвигало притязаний на суверенитет (*Calhoun* 1995b: 400), в «Национализме» Калхун ни слова не говорит о том, как и где гетерогенное «население» могло использовать такую риторику. В то же время в других работах он не раз отмечал, что преобразование династических абсолютистских государств и распад колониальных империй всегда сопровождались созданием «квазиавтономных публичных сфер» (*Calhoun* 1998: 20), внутри которых велась борьба за преимущественное использование националистического дискурса и политическое представительство всей предполагаемой нации.

Публичная сфера служила именно тем промежуточным звеном, которое позволило национализму перестать быть «просто» риторикой и превратиться в реальную силу. Она сыграла решающую роль в возникновении, развитии и принятии дискурсивной формации национализма, так как «только с институционализацией националистического дискурса в публичной сфере “нация” или “народ” конституируются как таковые», а сам «дискурс наций и национализма изначально был связан с созданием политических публик»

(*Calhoun* 1995a: 251, 272; 1997a: 91, 100)<sup>6</sup>. И хотя национализм зачастую противоречит идеалу рационально-критического коллективного принятия решений, описанному Хабермасом, исторически его развитие неразрывно связано с возникновением публичной жизни (*Calhoun* 1997a: 80).

Калхун приходит к проблематизации хабермасовского понятия «публичной сферы», пересматривая его в арендтовском ключе (*Calhoun* 1997b; 2002a; 2002b). С его точки зрения, представление о существовании некоего единого публичного дискурса неизбежно ведет к тому, что определенные темы, формы речи и высказывающиеся начинают занимать привилегированное положение, а все остальные, не получая «публичного» признания, в конечном итоге сводятся к «частной» области (*Calhoun* 1995a: 241–242). Однако разделение «публичного» и «частного» принадлежит к области политики и властных решений, так как не существует объективного критерия, одинаково применимого ко всем дискурсам: «...определение того, чья речь более публична, само по себе является предметом политического спора» (*Calhoun* 1995a: 246; 1997a: 85). Поэтому Калхун предлагает считать публичную сферу не сферой единой публики, а «сферой публик» (*Calhoun* 1995a: 242), которые оказывают давление на государство, требуя от него участия в решении своих проблем. Но существование множества различных публик не устраняет по-

<sup>6</sup> Тем не менее в «Национализме» сам термин «публичная сфера» употребляется Калхуном всего лишь *дважды*: в замечаниях о том, что публичная сфера наряду с экономикой была одной из форм самоорганизации гражданского общества (с. 150) и что, в случае с китайским национализмом, внутренняя публичная сфера «сама по себе была важна для появления националистической мысли» (с. 192).



требности в «более широком дискурсе, озабоченном среди прочего уравниванием различных требований, предъявляемых к государству, или различных интересов» (*Calhoun* 1995a: 242), хотя Калхун и не поясняет, какой именно дискурс выполняет или должен заниматься выполнением этой задачи.

Зачастую таким «более широким» дискурсом служил как раз националистический дискурс. Хотя Калхун связывает идею единой публичной сферы (и единой публики) с дискурсом национализма, который представляет нацию в виде единого целого, а дискурсы публик внутри нее в виде «субнациональных» дискурсов (*Calhoun* 1995a: 242–243), и утверждает, что — в пределе — националистический дискурс, отвергающий идею дифференцированных и гетерогенных публик, может стать «репрессивным не просто для меньшинств, но и для всех граждан» (*Calhoun* 1995a: 254), такое описание отношений между националистическим дискурсом и публичной сферой все же следует отличать (чего — по крайней мере эксплицитно — не делает Калхун) от действительной исторической практики использования этого дискурса в публичной сфере, так как националистический дискурс не существует независимо публик и не является привилегированным дискурсом какой-то одной из них<sup>7</sup>. В сущности, нет никаких препятствий для того, чтобы множество различных публик, объединяемых не классовой, гендерной, этнической или иной принадлежностью, а общим дискурсом, отстаивало собственные, подчас взаимоисключающие, пред-

<sup>7</sup> Наличие различных позиций в публичной сфере предполагается самой логикой ее устройства, так как если бы все участники публичной сферы занимали одинаковую позицию, в ней не было бы никакой необходимости (*Calhoun* 2002b: 165).

ставления о нации, продолжая тем не менее признавать важность самой категории «нация». Критикуя Калхуна, социологи Джерард Деланти и Патрик О'Махоуни отмечают, что на самом деле «в одном и том же обществе за относительно короткий промежуток времени или даже одновременно дискурс национальной идентичности может использоваться авторитаризмом или демократией, быть принципом, поддерживающим идеи равенства или отличия, или идеологическим предлогом для отрицания равенства и отличия определенных групп» (*Delanty, O'Mahony* 2002: 78).

В этом смысле приводимый Калхуном пример с антиколониальными национализмами, призванный показать «глубокую взаимозависимость формирования культуры, идентичности и политического дискурса» и стать основанием для пересмотра истории и социальной практики европейских национализмов (*Calhoun* 1995а: 267–268), оказывается весьма неоднозначным. Показывая, как националистический дискурс «привел элиты к выражению своих требований в терминах более широкой категории народа и попытке установить связи со множеством менее элитарных групп», в результате чего у простых людей появились средства для «мобилизации своих собственных проектов и своих собственных публичных дискурсов, соперничающих с проектами первоначальных националистических элит» (*Calhoun* 1995а: 269–270), Калхун словно исключает возможность использования националистического дискурса неэлитарными публиками против самих элит, хотя это вовсе не было редкостью, причем не только в антиколониальных национализмах (но в них особенно заметно). Тем более, что, как отмечает Калхун по другому поводу, «сильное национальное устройство “народа” не только заставляет казаться нелегитимным чужеземное правление, но и позволяет народу утверждать,

что его правительство является нелегитимным даже тогда, когда оно в нем нет ничего чужеземного» (с. 160).

Рассмотрение исторических примеров борьбы за включение или исключение из нации важно прежде всего потому, что оно позволяет увидеть решающее значение политического участия публик в создании категориальной идентичности «нации». Этот аспект долгое время оставался без внимания социальными и политическими теоретиками, считавшими нации дополитическими сообществами, основанными на общей культуре или культурной идентичности. И в этом отношении позиции участников наиболее заметных дебатов в социальной теории последних полутора десятилетий — между коммунитаристами (либеральными националистами и мультикультуралистами) и космополитами — были не так уж далеки друг от друга: они расходились главным образом в оценке национальной идентичности: положительной — у первых и отрицательной — у вторых. Калхун также принял участие в этих дебатах, но в роли критика, который не занял ни одной из сторон. Для него была очевидна недооценка значения публики у коммунитаристов и его переоценка у космополитов.

Одной из задач коммунитаристской теории является обоснование притязаний отдельных групп на особые права или особый конституционный статус для своих «традиционных» культур или наций, как в случае с квебекцами в Канаде, причем коммунитаристские теоретики — например, Уилл Кимлика, Чарльз Тэйлор, Маргарет Мур — нередко бывают участниками или по крайней мере сторонниками таких групп. Проблема заключается в том, что предоставление особого статуса предполагаемой категории само по себе способно привести к возникновению солидарности, сделав такую категорию реальной под действием «логики юридически опре-

деленной категории» (*Calhoun 1999b: 221*). С предоставлением предполагаемой группе особого правового статуса неизбежно возникает вопрос о критериях членства в этой группе и ослаблении, хотя и не полном исчезновении, пересекающихся идентичностей. Обращение же к категории «традиции» при обосновании этих особых прав может привести к закреплению определенных властных отношений, отстаиваемых публикой, выступающей от имени «традиции». Это не значит, что исследователи в своем анализе должны отказаться от использования понятия традиции; это значит, что они должны различать идеологическую риторику традиции у политических предпринимателей и социологически прослеживаемую, живую и изменчивую традицию, которая никогда не бывает просто «длящейся», «продолжающейся», а всегда требует воспроизводства в коллективном действии, причем «в каждом культурном контексте способность влиять на такое воспроизводство распределяется неравномерно, а особенности культуры отражают среди прочего социальную власть» (*Calhoun 1999b: 221*)<sup>8</sup>.

Основной недостаток коммунитаристской теории, с точки зрения Калхуна, заключается в смешении в понятии «сообщества» различных уровней социальной принадлежности: сообществ как сравнительно небольших групп, зависящих прежде всего от неформальных межличностных отноше-

<sup>8</sup> Именно механизмами социального воспроизводства и сознания социальной солидарности, а не «подлинностью» или ценностью культурного содержания объясняется сохранение «изобретенных» традиций: «Люди, которые читали Хобсбаума, по-прежнему встают под национальные гимны, записываются в армии и считают, что у них есть “родные” страны, когда они мигрируют» (*Calhoun 2001a: 454*).

ний, а не от формальных политико-правовых институтов; категорий, основанных на представлении о культурном сходстве или юридическом равенстве большого числа людей со слабыми межличностными связями; публик, возникающих благодаря участию в дискурсе, определяющем производство и воспроизводство социальных институтов и идентичностей (*Calhoun* 1999b: 220).

В многообразии культур, отстаиваемом мультикультуралистами, сами культуры обычно мыслятся как целостные единицы: здесь мультикультуралистский дискурс близок к дискурсу национализма, только мультикультурализм стремится «защищать» культуры, не имеющие своего национального государства и входящие в состав одного или нескольких более крупных национальных государств. Сходство с национализмом проявляется также в том, что мультикультурализм признает особую ценность принадлежности только к одной категориально понимаемой культуре.

При этом коммунитаристы не замечают, насколько культура, традиции и идентичность «сообщества» зависят от публичного дискурса, который позволяет создавать новые или изменять существующие культуры, традиции и идентичности. Они считают публичную сферу, в которой действуют сами, выступая от имени более «подлинного» и «естественного» сообщества, и которая, в сущности, делает возможным появление самих коммунитаристов, искусственной конструкцией, недостойной внимания. И здесь повторяется ситуация идеологического неузнавания условий своего собственного существования, характерная для националистического дискурса. «Слишком часто коммунитаристский и мультикультуралистский дискурс (при всех его остальных достоинствах) следует за националистическим дискурсом, представляя крупные категории, в которых люди на самом деле глубоко различны

и часто не знакомы друг с другом, по образцу небольших семейных или общинных групп» (Calhoun 1999b: 223)<sup>9</sup>.

В этом отношении Калхун готов согласиться с некоторыми теоретическими положениями космополитизма, противопоставляемого коммунитаризму. Речь идет прежде всего о признании того, что факторы, влияющие на человеческую жизнь, не ограничиваются обособленными обществами, что общества и культуры внутренне сложны, что их члены борются друг с другом, по-разному интерпретируют общее на-

<sup>9</sup> Подобное идеологическое неузнавание обусловлено тем, что теперь принято называть «методологическим национализмом» социальной и политической теории. «Методологические националисты» не обязательно должны открыто стоять на националистических позициях; напротив, к ним относятся теоретики, подход которых к рассмотрению аналитических проблем сформирован под неявным влиянием риторики национализма и которые являются носителями соответствующего социального воображаемого (Calhoun 2002c: 876). Основные идеи националистических мыслителей начала XIX века к началу XX столетия стали казаться само собой разумеющимися при рассмотрении культуры и общества. Националистический дискурс определил сам способ осмысления общества и идентичности, а «идея нации свелась к скрытому влиянию или предпосылке большей части социальной науки, а не основному объекту теоретического внимания» (Calhoun 1998: 8). Это позволяет объяснить растерянность многих теоретиков в начале 1990-х годов, которые оказались неспособными не только предсказать, но и объяснить «повторное появление» национализма: «Формирование социальной науки во время прошлого *fin de siècle* привело к тому, что социальные ученые оказались застигнутыми врасплох возрождением национализма во время нынешнего *fin de siècle*» (Calhoun 2001a: 455).

следие и по-разному относятся к культурным нормам, которые также противоречат друг другу, и что принадлежность нередко бывает множественной и взаимопересекающейся (Calhoun 2003a: 541). Признавая ценность различных культурных сообществ, космополиты все же полагают, что принадлежность индивидов к ним представляет собой вопрос исключительно личного выбора каждого<sup>10</sup>. Поэтому космополитизм выступает против «эксцессов» мультикультурализма, связанных с защитой групповых прав, бесконечным дроблением крупных общностей на более мелкие и готовностью отстаивать особенности культур, которые кажутся неприемлемыми космополитам.

В то же время Калхун считает космополитизм не просто направлением в социальной теории, а новейшей идеологией, которая имеет свою доктрину, аппараты и повседневные ритуалы, и рассматривает социальные, политические и экономические условия, которые привели к появлению этой идеологии. Несмотря на заявления современного космополитизма о существовании преемственной связи с космополитизмом прошлого, в действительности у них име-

<sup>10</sup> Схожие доводы приводятся также когнитивистской социальной теорией, например, Роджерса Брубейкера, который призывает к отказу от самой категории идентичности в пользу изменчивых и ситуативных «идентификаций». Калхун соглашается с тем, что одна и та же идентичность может служить «подвижным идентификатором» («*fluid identifier*») (Calhoun 2003c: 56), то есть иметь различное значение и менять свое содержание в зависимости от контекста, но он также отмечает, что идентичности часто создаются путем внешней категоризации, аскрипции и дискриминации, которая выходит за рамки индивидуального выбора (Calhoun 2003a: 536; 2004: 250).

ется одно важное отличие. Космополитизм прошлого был проектом империй, торговли на большие расстояния и городов (*Calhoun* 2002c: 871) и никогда не выдвигал особых политических притязаний, выступая за сохранение ненасильственного *status quo*, тогда как новейший космополитизм при всей своей неоднородности<sup>11</sup> представляет собой амбициозный проект институционализации «космополитической демократии», «глобального гражданского общества» и «мирового гражданства».

Чрезмерный оптимизм космополитической теории относительно перспектив наступления пост- и транснационального общества связан прежде всего с развитием экономической глобализации, воспринимаемой в качестве неизбежного процесса, который требует в конечном итоге соответствующего политического оформления и создания глобальных политических институтов (*Calhoun* 2002b: 147). Этот космополитический проект, предполагающий переопределение политического сообщества на новой — глобальной — основе, представляется Калхуну крайне сомнительным и неосуществимым (по крайней мере в том виде, в каком он предлагается сегодня). Так, сторонники космополитизма, говорящие о необходимости более широкого участия в глобальной политике, оставляют без внимания вопрос о том, как вообще возможно такое участие, если даже на местном и национальном уровне

<sup>11</sup> Подобно тому как не существует одного национализма, на доктринальном уровне не существует и одного космополитизма. Калхун выделяет несколько его разновидностей: политический (Дэвид Хелд), социальный (Ульрих Бек), этический (Марта Нуссбаум), эстетический (Хоми Баба, Салман Рушди) и психологический (Ричард Сеннет), предполагающий активное принятие многообразия, а не просто терпимость (*Calhoun* 2003a: 537–540; 2004: 234).



простые показатели явки на выборы остаются крайне низкими и продолжают снижаться. Кроме того, для вхождения в глобальную публичную сферу (что бы под ней ни понималось) необходимо слишком много базовых знаний и умений — от компьютерной грамотности и владения иностранными языками до знания аббревиатур многочисленных международных организаций, — которые распределены в современном мире крайне неравномерно (*Calhoun* 2002с: 881–882).

Подобное невнимание к условиям осуществления космополитического проекта во многом объясняется тем, что реальный космополитизм представляет собой идеологию транснациональной космополитической элиты, связанную с корпорациями, международными не- и межправительственными организациями и университетами. Калхун называет космополитизм «классовым сознанием частых путешественников», постоянное взаимодействие которых между собой создает иллюзию существования глобального сообщества<sup>12</sup>. И хотя привлекательность сегодняшнего космополитизма для элит отчасти обусловлена тем, что он предлагает изменения, не может повлечь за собой радикального перераспределения богатства и власти (*Calhoun* 2002с: 893), такого объяснения явно недостаточно. Большое значение имеет существование у нынешней космополитической элиты общей культуры, которая сложилась в конкретных условиях космополитической мобильности, получения образования

<sup>12</sup> Такая интеллектуальная позиция сама по себе сопряжена с материальными преимуществами и привилегиями — «правильные» паспорта, облегченная процедура получения виз, международные кредитные карты, скидки для постоянных клиентов авиакомпаний, приглашения от организаторов международных конференций и т. д. (*Calhoun* 2002с: 872; 2003а: 541; 2004: 245).

и информационной среды: «Элиты “бедных” стран, которые участвуют в глобальном гражданском обществе, многосторонних органах и транснациональных деловых корпорациях, не только делают деньги, которые даже не снились их соотечественникам, но и делают возможной космополитическую иллюзию элит из богатых стран. Это иллюзия того, что их связи со своими соратниками-космополитами означают подлинное преодоление привязанностей к нации, культуре и местности» (*Calhoun* 2004: 245).

Космополитам, оспаривающим принадлежность к нации в качестве основы гражданства, почти нечего предложить взамен национального государства. Приводя Европейский Союз в качестве примера того, каким может стать новый «постнациональный» порядок, приходящий на смену «вестфальской» эпохе национальных государств<sup>13</sup>, космополиты не видят серьезных сложностей, возникающих при переходе от экономической интеграции к политической. Они также не задаются вопросом о том, насколько этот проект может быть действительно новым после продолжительного господства национальных государств, то есть вопросом о возможности продолжения процесса, который привел к национальному объединению во Франции и Германии и подчинению шотландской, ирландской, валлийской и английской идентичностей британскому государству, на более высоком уровне (*Calhoun* 2001b: 36; 2004: 236, 251). В этом смысле в долгосроч-

<sup>13</sup> Калхун подчеркивает, что речь идет о сравнительной успешности *проекта* национального государства, который завладел международным воображением с середины XVII века (*Calhoun* 2004: 234), так как в действительности национальное государство всегда было сложнее его описаний у националистов и современных космополитов.

ной перспективе европейская интеграция вовсе не обязательно должна привести к преодолению национальных идентичностей и национализма; более того, в случае своего успеха она вполне способна будет «породить национализм в континентальном масштабе» (*Calhoun* 2003b: 248).

И все же, оптимистично оценивая потенциал европейской интеграции, Калхун с пессимизмом смотрит на ее действительные достижения в деле создания общеевропейской публичной сферы, которая до сих пор остается проектом, а не реальностью и без которой «конституционный патриотизм», предлагаемый Хабермасом в качестве основы политической идентичности новой Европы, останется (*Calhoun* 2003b: 245, 249). Процесс объединения Европы делает зримым основной недостаток всей космополитической социальной теории — «конституционный патриотизм» служит здесь «важной конкретизацией более общего и получающего все более широкое распространение, но не бесспорного космополитизма» (*Calhoun* 2002b: 149), а именно: неспособность объяснить возникновение и воспроизводство сильной социальной солидарности без обращения к дополитической культурной основе.

Впервые абстрактная формула «конституционного патриотизма» появилась во вполне конкретных немецких дебатах о воссоединении Германии, наследии Третьего рейха и изменении законодательства о гражданстве (*Calhoun* 2002a: 307) и означала верность либерально-демократическим принципам послевоенной конституции в качестве основы немецкой идентичности. Возможно, обращение к идее «конституционного патриотизма», близкой к идее «гражданского национализма» и противопоставляемой возможному «этническому национализму», имело смысл в контексте развитой немецкой публичной сферы и уже существующей национальной солидарности. Но в отсутствие европейской публичной сферы

формальная процедура принятия конституции, которая, по Хабермасу, должна стать основой для зарождения постнационального «конституционного патриотизма» единой Европы, вряд ли сможет обеспечить создание общей политической идентичности. Чтобы быть сколько-нибудь действенной, концепция «конституционного патриотизма» нуждается в глубоком пересмотре: «идея конституции как правовых рамок, таким образом, должна быть дополнена идеей конституции как конкретных социальных отношений — уз взаимных обязательств, созданных совместным действием, институтов и общих форм практического действия» (Calhoun 2002b: 152–153). В то же время космополитические теоретики пока не готовы к столь «радикальному» шагу, который означает всего лишь переход от идеально-типических конструкций «космополитического общества и его врагов» в духе Ульриха Бека к анализу куда более сложной и неоднозначной социальной практики создания и преобразования идентичностей.

\* \* \*

Для одних национализм — это проявление глубокой потребности в солидарности и принадлежности, для других — необходимый, но уже пройденный этап истории. Работы Крэйга Калхуна помогают понять, почему, несмотря на постоянно повторяющиеся заявления о «конце» нации и национализма, эта дискурсивная формация продолжает не просто воспроизводиться, но и набирать влияние. Национализм не существует сам по себе; он таков, каким его делают публики, влияющие на определение границ политического сообщества и содержания политических идентичностей. Этим и объясняется необычайная пластичность и многозначность националистического дискурса.

Артём Смирнов

## ЛИТЕРАТУРА

- Фуко 1996— Фуко М. Археология знания. Киев: Ника-Центр, 1996.
- Brennan 1990— Brennan T. The National Longing for Form//Nation and Narration: Post-Structuralism and the Culture of National Identity/Ed. H. Bhabha. London: Routledge, 1990. P. 44–70.
- Calhoun 1993— Calhoun C. Nationalism and Ethnicity//Annual Review of Sociology. 1993. Vol. 19. P. 211–239.
- Calhoun 1994— Calhoun C. Nationalism and Civil Society: Democracy, Diversity and Self-Determination//Social Theory and the Politics of Identity/Ed. C. Calhoun. Oxford: Basil Blackwell, 1994. P. 304–335.
- Calhoun 1995a— Calhoun C. Critical Social Theory: Culture, History and the Challenge of Difference. Oxford and Cambridge, MA: Basil Blackwell, 1995.
- Calhoun 1995b— Calhoun C. Nationalism and Social Change//Understanding Social Change in the Nineties: Theoretical Approaches and Historical Perspectives/Eds. V. Vázquez de Prada and I. Olábarri. Aldershot, Hampshire: Ashgate/Variorum, 1995. P. 389–420.
- Calhoun 1997a— Calhoun C. Nationalism and the Public Sphere//Public and Private in Thought and Practice/Eds. J. Weintraub and K. Kumar. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1997. P. 75–102.
- Calhoun 1997b— Calhoun C. Plurality, Promises, and Public Spaces//Hannah Arendt and The Meaning of Politics/Eds. C. Calhoun and J. McGowan. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1997. P. 232–259.
- Calhoun 1998— Calhoun C. Nationalism and the Contradictions of Modernity//Berkeley Journal of Sociology. 1998. Vol. 42. P. 1–30.
- Calhoun 1999a— Calhoun C. Nationalism, History and Social Change//Social Change and Historical Sociology/Ed. F. Engelstad and R. Kallberg. Oslo: Scandinavian University Press, 1999. P. 3–28.
- Calhoun 1999b— Calhoun C. Nationalism, Political Community and the Representation of Society: Or, Why Feeling at Home Is Not a Sub-

- stitute for Public Space // *European Journal of Social Theory*. 1999. Vol. 2. No. 2. P. 217–231.
- Calhoun 2001a*— *Calhoun C.* Nationalism, Modernism, and their Multiplicities // *Identity, Culture, and Globalization* / Eds. E. Ben-Rafael and Y. Sternberg. Leiden: Brill, 2001. P. 445–470.
- Calhoun 2001b*— *Calhoun C.* The Virtues of Inconsistency: Identity and Plurality in the Conceptualization of Europe // *Constructing Europe's Identity: The External Dimension* / L.-E. Cederman. Boulder, CO: Lynne Reiner, 2001. P. 35–56.
- Calhoun 2002a*— *Calhoun C.* Constitutional Patriotism and the Public Sphere: Interests, Identity and Solidarity in the Integration of Europe // *Global Justice and Transnational Politics* / Eds. P. De Greiff and C. Cronin. Cambridge, MA: MIT Press, 2002. P. 275–312.
- Calhoun 2002b*— *Calhoun C.* Imagining Solidarity: Cosmopolitanism, Constitutional Patriotism and the Public Sphere // *Public Culture*. 2002. Vol. 14. No. 1. P. 147–172.
- Calhoun 2002c*— *Calhoun C.* The Class Consciousness of Frequent Travelers: Toward a Critique of Actually Existing Cosmopolitanism // *South Atlantic Quarterly*. 2002. Vol. 101. No. 4. P. 869–897.
- Calhoun 2003a*— *Calhoun C.* «Belonging» in the Cosmopolitan Imaginary // *Ethnicities*. 2003. Vol. 3. No. 4. P. 531–553.
- Calhoun 2003b*— *Calhoun C.* The Democratic Integration of Europe: Interests, Identity and the Public Sphere // *Europe without Borders: Re-Mapping Territory, Citizenship and Identity in a Transnational Age* / Eds. M. Berezin and M. Schain. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2003. P. 243–274.
- Calhoun 2003c*— *Calhoun C.* Variability in Belonging: A Response to Brubaker // *Ethnicities*. 2003. Vol. 3. No. 4. P. 558–568.
- Calhoun 2004*— *Calhoun C.* Is It Time to Be Postnational? // *Ethnicity, Nationalism, and Minority Rights* / Eds. S. May, T. Modood and J. Squires. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 231–256.
- Calhoun 2005*— *Calhoun C.* Introduction // *Kohn H. The Idea of Nationalism*. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2005. P. IX–L.

*Delanty, O'Mahony* 2002 — *Delanty G., O'Mahony P.* Nationalism and Social Theory: Modernity and the Recalcitrance of the Nation. London: Sage Publications, 2002.

*Eley, Suny* 1996 — *Eley G., Suny R.* Introduction: From the Moment of Social History to the Work of Cultural Representation // *Becoming National: A Reader* / Eds. G. Eley and R. Suny. New York, NY: Oxford University Press, 1996. P. 3–37.

*Fearon, Laitin* 2000 — *Fearon J., Laitin D.* Violence and the Social Construction of Ethnicity // *International Organization*. 2000. Vol. 54. No. 4. P. 845–887.

*Hall* 1993 — *Hall J.* Nationalisms: Classified and Explained // *Daedalus*. 1993. Vol. 122. No. 3. P. 1–28.

*Laclau, Mouffe* 2001 — *Laclau E., Mouffe Ch.* Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. 2<sup>nd</sup> ed. London: Verso, 2001.

*Moore* 2001 — *Moore M.* The Ethics of Nationalism. Oxford, UK: Oxford University Press, 2001.

*Özkirimli* 2000 — *Özkirimli U.* Theories of Nationalism: A Critical Introduction. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2000.

*Smith* 1999 — *Smith A.* Myths and Memories of the Nation. Oxford, UK: Oxford University Press, 1999.

*Smith* 2001 — *Smith A.* Nationalism: Theory, Ideology, History. Cambridge, UK: Polity Press, 2001.





*Крэйг Калхун*

**Национализм**

Редактор *Л. Макарова*

Оформление серии *В. Коршунов*

Верстка *С. Зиновьев*

Формат 70 × 100 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная

Усл. печ. л. 23,2. Уч.-изд. л. 10,3.

Тираж 3000 экз. (1-й завод 1100 экз.)

Заказ №

Издательский дом «Территория будущего»

125009, Москва, ул. Б. Дмитровка, 7/5

Отпечатано в ГУП ППП «Типография "Наука"»

121099 Москва, Шубинский пер., 6